

2. Глава I. Осваиваемое пространство как фактор организации населения. Русское Зауралье в конце XVI – первой половине XVIII вв.

Общество разнородно, у него очень много разнонаправленных целей, соответственно, должны быть различны и средства их достижения. Это определяет существование различных аспектов освоения, характеризующихся различиями в информационном пространстве и, соответственно, различными поведенческими реакциями и их материально-вещественными проявлениями.

2.1. Пространство административно-правового освоения

Используемое нами понятие административно-правового освоения не следует смешивать с так называемой «правительственной колонизацией». Последняя, выступающая обычно в качестве оппозиции к «вольнонародной колонизации», всего лишь характеризует баланс приложенных сил к колонизационному процессу со стороны тех или иных его субъектов. В свою очередь под административно-правовым освоением понимается процесс «делания своими» реалий колонизационного пространства со стороны административно-государственной структуры и «оправдание» его рамками обычного или писаного права. Выяснение степени, меры участия данного аспекта освоения в общем процессе колонизации не имеет очевидного смысла, поскольку эту роль не в состоянии выполнить **никакой другой** субъект процесса освоения. В известном смысле этот аспект освоения близок тому, что Л.М.Каптерев называл «казенной колонизацией» [1], указывая этим не столько на приоритет усилий правительства в колонизации, сколько на роль правительственных интересов в специфике проявлений этого процесса.

Субъектом процесса административно-правового освоения является государственная административная структура. Как и любая другая

информационная структура, она создавала свое собственное пространство, в котором отражалось все, что **имело значение** для нее. Иными словами, пространство административно-правового освоения являлось не только результатом общих, парадигмальных, установок в восприятии внешней информации, характерных для данного социума в целом, но и продуктом особых информационных фильтров – порождений самой административной структуры. Для начала рассмотрим общие особенности восприятия пространства, присущие социальной структуре Русского государства в исследуемый период.

Как-то пытаюсь локализовать пространственные границы ряда зауральских монастырских вотчин по их межевым описаниям, мы столкнулись с неожиданным затруднением. Оказалось, что подобная процедура практически невозможна. Дело в том, что подавляющая часть межевой информации представлена в документах линейным (вербальным) способом. Приведем типичный пример межевого описания, относящийся к обмежеванию земель Далматова монастыря конца XVII столетия: «А межа той земле до речки Исети сосноваго яру, что над Исетью, а на том сосновом яру на сосне вновь учинено две грани; с той сосны прямо на увал на березу, а на ней две ж грани, да подле той березы малая березка с одного корени, и с тех берез прямо на полдень в степь на яму, а в той яме уголье, а подле ямы столб, а на нем грань, а с той ямы и столба прямо степью на дуброву на одинокую березу, а на ней по обе стороны грани, а с той березы по дуброве прямо на осиновый колок...» [2] и т.д. и т.п. Известный тезис о невозможности адекватного отображения геопространственной (исходно нелинейной) информации линейным способом ставит практически непреодолимые барьеры любым попыткам аутентичного перевода ее с одной формы фиксации на другую (с текста в графику и наоборот). Кроме того, невозможность перевода вербальных межевых описаний в графическую форму обусловлена отсутствием минимально необходимой для этой процедуры информации: о величинах углов поворота межевой линии в точках

ее излома [3], а зачастую и о расстояниях между ориентирами. Все свидетельствует в пользу того, что данные вербальные описания никоим образом не могут быть соотнесены с возможным картографическим материалом (под часто употребляемым в межевых описаниях термином *чертеж* более естественно предполагать черчение на земле, т.е. само межевание, а не черчение на бумаге, т.е. карту). Это, в свою очередь, заставило нас отказаться от первоначального предположения о межевых документах как своего рода гипертрофированных *легендах* (вербальных пояснениях) к несохранившимся картографическим первоисточникам. О первичности вербальных описаний свидетельствует и характер содержащейся в них информации, которая слишком конкретна и наглядна, чтобы быть продуктом переложения графического изображения в текст.

Таким образом, о вербальных межевых документах можно говорить только как о самостоятельном типе отображения геоинформации. Этот вывод кажется тем более странным, что межевая информация, требующая только достаточно «узнаваемого» обозначения межевых ориентиров и примерного направления связующих их векторов, вполне успешно могла быть отражена графически уже имеющимися к тому времени картографическими средствами.

Явный примат «слова над графикой» не был обеспечен какими-либо функциональными преимуществами. Обладая значительной избыточностью (как самой информации, так и средств ее отображения), вербальные межевые описания слишком громоздки и неудобны в плане восприятия их содержания. Да и практическое использование их, подчас, вызывало столь значительные затруднения, что ставило под вопрос саму их функциональность. Так, чрезвычайная конкретность межевой документации свела ее значение почти исключительно к местному уровню. Использование межевых описаний на практике предполагало очень хорошее знание размежеванной местности. Чиновнику, не имеющему непосредственного отношения к этой территории, но вынужденному по долгу службы заниматься различного рода земельными

спорами, практически невозможно было составить сколько-нибудь объективную картину дела, имея источником информации лишь межевые документы. Все это не могло не вести к затягиванию решений по земельным тяжбам, вызванному необходимостью сбора сведений по существу спора на месте от находящихся в тяжбе сторон и старожилов.

Оперируя объектами с часто недостаточно хорошо выделенными индивидуальными признаками, либо имеющими недолговременный характер и, во всяком случае, трудно локализуемыми в пространстве, межевые описания нередко сами вызывали земельные споры, причину которых следует искать именно в ошибках, свойственных линейному способу отображения геоинформации. Примерами подобных ошибок могут служить случаи, когда разные географические объекты носили одно и то же название (так, Ершовкой, служившей одним из межевых ориентиров, называли две различные речушки жители смежных Атбашского острога и вотчины Тобольского Знаменского монастыря [4]), либо, наоборот, один объект имел несколько наименований (так, речка Пиригимка Тобольской округи выступала в межевых описаниях также под именами Солянка и Московка [5]). Каждый из таких случаев вызывал необходимость разбирательства на месте, поскольку сами по себе межевые документы не могли сколько-нибудь ощутимо прояснить дело.

Итак, вербальные описания не имели средств к адекватному отображению пространственной информации, а практическое использование их было сопряжено со значительными издержками. Тем не менее, несмотря на принципиальную возможность отображения этой информации графически уже существующими к тому времени средствами, господство текста над картой наблюдалось почти на всем протяжении исследуемого периода. Причем, следует заметить, что последнее замечание касается не только межевых документов, но **всего** комплекса пространственной информации, нашедшей свое отражение в документах второй половины XVI – XVII вв. (например, «Поверстная книга», «Книга Большому Чертежу» и другие).

Устойчивый стереотип об этих произведениях как «росписях» несохранившихся картографических первоисточников совершенно несостоятелен. Характер содержащейся в них информации никоим образом не вытекает, и даже никак не соотносится, с гипотетическими картами. А широко распространенный в то время термин «чертеж», упорно отождествляемый современными исследователями с географической картой, был полисемантивен и не может сегодня являться доказательством распространенности картографических произведений. Более того, стоит только отказаться от отождествления «чертежа» и карты, как многочисленные «мелкие» нестыковки, отмечавшиеся исследователями, найдут свое объяснение. Это и удивительно стабильная «несохраняемость» карт (с досадой констатируемая многими исследователями), это восхищение масштабом картографических работ, о котором якобы свидетельствует сохранившаяся опись «чертежам» царского архива 1575-1584 гг., где «чертежи» относительно небольших территорий занимали целые ящики [6], наконец, это многочисленные свидетельства о «ветхом» и «роспавшемся» состоянии многих «чертежей» [7]. Все это, по нашему мнению, говорит скорее в пользу книги, нежели карты. Собственно картографические произведения (довольно редкие в то время) вплоть до конца XVII столетия не были сколько-нибудь ощутимо востребованы практикой и носили скорее иллюстративно-дидактический характер (отсюда и их примитивность).

Современный исследователь волей-неволей проецирует на прошлое систему нынешних стереотипов относительно восприятия пространства и способов его (пространства) репрезентации. Сегодня, например, стоит большого труда убедить себя, что географическая карта не является естественным и даже самоочевидным атрибутом любого развитого общества, но есть исторически молодой способ отображения земной поверхности. Вместе с тем, констатируемое нами пренебрежение средствами картографии заставляет говорить о существовании вплоть до начала XVIII столетия такой системы репрезентации пространства, при которой карта почему-то не

воспринималась как изображение земли «сверху» и, следовательно, не принималась за практически полезную вещь. Вполне убедительная модель такой парадигмы в восприятии пространства была предложена А.В.Подосиновым. Заинтересовавшись широкой распространенностью в античном обществе вербальных пространственных описаний, а также редкостью и нефункциональностью современных им картографических источников, он пришел к выводу об эволюции форм пространственного восприятия в виде последовательной смены первичной и вторичной систем ориентации человека в пространстве.

Исторически первой формой ориентации человека в пространстве (восприятия пространства), по мнению А.В.Подосинова, «можно считать ту, при которой субъект наблюдения (описания) полагает себя в центре наблюдаемого (описываемого) им мира, а все окружающие объекты воспринимает через призму их отношения к этой центральной точке» [8]. Подобное антропоцентрическое восприятие пространства достаточно хорошо объясняет «приземленность» вербальных пространственных описаний, привязанность их к конкретной местности, к легко вызываемым в сознании (памяти или воображении) зрительным образам, а, следовательно, к самому человеку. Модель эта объясняет и факт не востребованности практикой картографических источников. В рамках данной парадигмы репрезентации пространства карта просто не могла быть объектом практического использования, поскольку носитель этого типа пространственного восприятия не видел на ней себя, не мог еще абстрагироваться от своего эгоцентра в процессе отражения пространства. Единичные же случаи отвлеченного картографирования еще не могли преодолеть этого наследия архаики. И лишь достаточно высокая степень развития «геокартографического сознания, когда наблюдатель исключает из рассмотрения место своего пребывания как исходный пункт рассмотрения», приводит к возникновению вторичной системы ориентации – картографической [9]. Почему-то считается, что если

бы такая смена парадигм пространственного восприятия произошла в Новое время, она была бы обязательно замечена.

Сегодня распространен стереотип, что только картографические средства позволяют получать пространственную информацию в максимально адекватной и емкой форме. И наоборот, отсутствие графически отображенной геоинформации означает не только отсутствие необходимых сведений о конкретной территории, но и не позволяет осуществлять в ее пределах сколько-нибудь продуманных управленческих решений. Исходя из этого стереотипа, следует проанализировать насколько информированными были управляющие органы в метрополии о колонии и в какой степени эта информированность проистекала из картографических источников.

Некоторые пространственные сведения о зауральской территории содержатся уже в «Книге Большому Чертежу» редакции 1627 года, хотя, по справедливому замечанию Д.М.Лебедева, отражают уровень географических знаний не первой четверти XVII-го, а последних 30 лет XVI-го века [10]. Д.Я.Резун, на основании анализа упоминаемой в этом произведении поселенческой номенклатуры, вообще посчитал характер этих сведений восходящим ко временам походов в Югру [11]. Поэтому по-настоящему первой попыткой власти упорядочить пространственную информацию из сибирской колонии, видимо, следует считать указ 7176 (1668) года царя Алексея Михайловича, согласно которому был «збиран... чертеж в Тоболску за свидетельством всяких чинов людей, которые в сибирских во всех городах и острогах хто где бывал и городки и остроги и урочища и дороги и земли знают подлинно... и то писано в чертеже порознь по статьям в кругах, также за свидетелству иноземцов и приезжих бухарцов и служилых Татар» [12]. Употребленный здесь термин *чертеж* не должен смущать (в рассматриваемое время он был крайне полисемантичен), если под ним и понимается некое графическое изображение, оно могло быть лишь рисунком, иллюстрирующим вербальное описание, и не могло иметь самостоятельного практического значения (что отличает вербальные пространственные описания того времени

от *легенды* – вербального пояснения к современной карте, играющего сегодня почти исключительно вспомогательную, второстепенную роль). Основное, информативное, ядро данного произведения несомненно составляло вербальное повествование, где локализация и взаиморасположение описываемых объектов (главным образом поселений) обозначены через их привязку к известным (имеющим название) дорогам, рекам, озерам, а также через указание расстояний между ними, о чем, собственно, и «писано в чертеже порознь по статьям». Иными словами, первые географические сведения о Сибири, затребованные властью, имели наверняка чисто вербальный характер и, как можно думать, вполне удовлетворяли ее своей информативностью.

Постепенно, однако, административные интересы становятся все более требовательными к новым, картографическим, средствам отображения пространственной информации. Как оправдывает свое повеление боярский приговор 1696 года «О снятии чертежа Сибири»: «...и те чертежи велеть в городех сделать для того, что в Сибирском приказе Сибирским городам чертежей нет, и ведать не по чему...» [13]. В данном случае под «чертежами» уже почти наверняка понимаются именно графические произведения. Всплеск чертежно-картографических работ в Сибири на рубеже XVII – XVIII веков отмечался Л.А.Гольденбергом [14]. Однако процесс перехода к новой картографической традиции затянулся на десятилетия. Знаменитая сибирская карта С.У.Ремезова [15], составленная в 1697-1699 годах, и расцениваемая сегодня как итог русских географических знаний о Сибири к концу XVII столетия, не могла быть использована в иных целях, кроме иллюстративной. Источниками ее составления, помимо письменных документов, являлись рассказы «старожилов, памятных бывальцев», «ведомцев», «бывальцев в непроходимых местах и каменех безводных, на степях и на морях», не только русских, но и «иноземцев-бухар, и татар, и калмыков, и новокрещенных» [16], что уже в определенной степени характеризует ее содержание. Своей южной ориентацией и крайней схематичностью (нарочито декоративное отображение

речных систем: реки – толстые извилистые линии, притоки изображены одинаковой длины и расположены один от другого через равные промежутки, берега однообразно извилисты, озера – большие и круглые) карта Ремезова явилась одним из последних проявлений старой картографической традиции, уступившей в XVIII веке место картографии современного типа. В этой связи, следует заметить, что исследование географических знаний по картам старой картографической традиции (целью создания которых были не практические, а иллюстративно-дидактические соображения) не может считаться достаточным и даже сколько-нибудь результативным. Адекватность отображения географических реалий не являлось целью создания подобного рода графических произведений, что выразилось в значительных искажениях изображаемых объектов, даже если они были заведомо хорошо известны авторам этих работ.

Сколько-нибудь точно передавались графически лишь «чертежные переводы» (планы) городов, выполнявшиеся при начальном их устройстве [17]. Однако и эти произведения возвращают нас в конечном счете к человеку, поскольку были основаны на непосредственном наблюдении и традиции в изготовлении которых были подготовлены многовековым опытом иконографического изображения поселений (привлечение «иконников» к составлению рисунков-чертежей городов в конце XVII столетия отмечают Л.А.Гольденберг [18] и Г.В.Алферова [19]). В общем же случае, отсутствие потребности в сплошной «инвентаризации» геопространственных реалий (само пространство конституировалось наличной информацией о них, что не вызывало ощущения «незаполненности» пространства) низводило картографическое произведение на положение если не иллюстрации, то мало на что годного в практическом отношении курьеза.

Вместе с тем, отсутствие вплоть до начала XVIII столетия картографических изображений Сибири, способных служить практическим целям, не должно являться доказательством отсутствия информированности о ней. Информация конечно же поступала, но в ином виде и, соответственно,

по-иному оценивалась. В большинстве случаев о происходящих в колонии делах государь узнавал из челобитных, отписок представителей власти на местах и устных сообщений, доставляемых нарочными гонцами, «чтоб государю про всякие дела, что зделается, было ведомо и было б ково роспросить, чтоб хто сказать умел» [20]. (В этой связи, отчасти понятно некоторое пренебрежение, которым характеризовалось отношение власти к чисто географической информации из пределов колонии. Для управления (а под ним понималось обычно то или иное административное решение по сути ситуации или спора) вполне **хватало** информации, поступающей с запросом на решение проблемы. По большому же счету от «центра» требовалась лишь воля и правовое закрепление **уже сформулированного** на местах решения. Поэтому, несмотря на то, что у правительства не было единого, определенного плана действий в Сибири, не был налажен механизм сбора информации об осваиваемой территории, а реагирование его на те или иные местные обстоятельства было чисто ситуативным, нельзя не признать, что управление это было в целом успешным).

В отличие от доминирующего сегодня представления о пространстве как абстрактном, геометризованном и изотропном «вместилище» материальных объектов, тогда пространство воспринималось именно через призму этих выделяемых объектов (вернее, через призму представлений о них). Как пишет А.В.Подосинов, подобное отношение характеризуется «непосредственным, чувственно-конкретным восприятием пространства, при котором человек... устанавливает направление (или местоположение) наблюдаемых и описываемых им географических объектов по ориентирам окружающей ландшафтно-климатической природной среды, а также социально-политической, экономической, религиозной, бытовой и прочей практики» [21]. Эти ориентиры не просто заполняли пространство, но сами конституировали его, делали качественно разнородным, анизотропным. Достойным внимания и описания считалось лишь то, что имело значение, что могло быть названо и интерпретировано. Вербальность пространственных

описаний ставила как составителя, так и читателя подобным образом фиксированной информации в жесткую зависимость от слова, термина, обозначающего тот или иной географический объект. А ошибки свойственные такому способу отображения пространственной информации сказывались еще на протяжении почти двух столетий, уже при господстве современной, картографической парадигмы пространственного восприятия. Так, в 1792-94 гг. возник спор тюменских городских крестьян с крестьянами деревень Антипиной и Копыловой о Стрелецком луге. К делу была представлена данная от 15 июля 1715 (1667) года на владение жителями деревни Антипиной островом, на котором косили стрельцы. Чиновники Тобольской верхней расправы, занимавшиеся данным спором, оказались в затруднении, поскольку не имели возможности подтвердить факт идентичности спорного Стрелецкого луга со стрелецкими покосами из представленного документа, т.к. возможно «кроме одного есть другой остров на котором прежде кашивали стрельцы» [22].

Описание тех или иных объектов географического пространства считалось достаточным, если приводилось имя собственное (для выделявшихся или уникальных объектов), если указывались ориентиры (при указании лишь класса объекта), либо если указывалось расстояние до известных объектов. В ответе на указ царя Алексея Михайловича тобольскому воеводе П.И.Годунову о проведывании дорог от Тобольска к Астрахани и в Китайское государство следовало: «...из Тобольска степми дорога, озера и реки большие есть, а описать оных никоими мерами не возможно, потому что знатцы, которые бывали те люди, тем рекам и озерам прозвать не знают» [23]. Иными словами, указывание топонимов и гидронимов признавалось более информативным, нежели описание реальных географических объектов. В этой связи понятно распространение в Сибири практики вожества. Не имевшие средств для адекватной передачи геопропространственной информации, вожи (проводники) сами становились

неотъемлемым атрибутом проникновения на незаселенные русскими территории по тем или иным административным надобностям.

Селективность отражения пространства делала линейные и площадные измерения земной поверхности, чему сегодня уделяется исключительно большое значение, маловажным с точки зрения информированности о некоторой территории. Более того, очаговое восприятие пространства мешало серьезному отношению к территориальному разделению как таковому. Как следствие, отсутствие четкой регламентации в территориальном разграничении воеводских властных полномочий, вкуче с неравным статусом самих воевод и их личными амбициями, являлись весьма ощутимой издержкой административно-правового освоения.

Образование уездных границ было делом достаточно хаотичным и конъюнктурным. Часто единственным поводом для передачи тех или иных территорий к тому или иному уезду было удобство или неудобство местного населения в сдаче ясака. Поскольку, как мы покажем ниже, именно население конституировало пространство для административной структуры, лежащие «впусе» земли просто выпадали из поля зрения власти, что служило дополнительным фактором отсутствия четкого межуездного разграничения. Кроме того, для каждого из воевод «заполненным» выступало лишь пространство, занимаемое приписанным к данному уезду населением. Все другие земли (при отсутствии четких границ между уездами) воспринимались как «порозжие», что не могло не вылиться в перманентные межуездные тяжбы.

В ноябре 1619 года били челом государю ясачные татары Туринского уезда на жителя Верхотурья Артемия Бабинова, который отнял у них ясачную вотчину «на реке на Нице на усть Реши речки» и поставил там деревню [24]. Как стало известно, Бабинов получил эту землю как государево пожалование, назвав ее в своей челобитной верхотурской и пустой. Однако оказалось «то де место стало в споре меж Верхотурья и Япанчина, а тово де неведомо, которого уезду то место: Верхотурского или Епанчинсково» [25].

Эти же причины обусловили достаточно серьезные конфликты зауральских воевод по поводу устройства новых слобод. В 1667 году из Верхотурья начали строить слободу на речке Камышенке и уже вывезли бревна на острог. В следующем году строитель слободы приказчик С.Будаков жаловался своему воеводе, что на то же место приехали строить слободу по наказу из Тобольска. А еще через год партия тобольских служилых людей выбила Будакова из слободы. Пытавшийся вступить за него верхотурский воевода И.Колтовской даже был вынужден сесть у себя на Верхотурье в осаду от присланных тобольским воеводой П.И.Годуновым людей во главе с сотником Клепиковым [26].

Возникший несколько позже и не имевший достаточных рычагов воздействия на соседние административно-территориальные образования, Туринский уезд подвергся настоящей колонизационной экспансии со стороны Тобольского и Верхотурского уездов. Из Верхотурья здесь были построены слободы Рудная и Ницынская-Ощепкова. Слободы Киргинская, Чубарова, Верхне-Ницынская, Нижне-Ницынская (Красная) были основаны по инициативе тобольских воевод, приписаны к Тобольску и считались слободами «тобольскаго присуду туринскаго уезду» [27]. Это вызвало постоянные обращения туринского воеводы и поддерживаемых им туринских ясачных инородцев в Москву. Туринский воевода Г.Волынцов отписывал государю в 1632 году: «И около, государь, Туринского острогу ясашных волостей построились твои государевы слободы: Красная слобода и Чубарово городище, и в те слободы по твоему государеву указу указывают из Тобольска, и на Невье и на Режу и в Новой слободе указывают с Верхотурья... и мне, государь, холопу твоему в тех слободах русским людем о звериных ловлях и огнях заказать не уметь, что они не под туринским присудом, и заказу моево, холопа твоего, не слушают и в Туринской к суду не едут... И те, государь, слободы построились все в Туринском уезде, да и вново, государь, ныне с Верхотурья ж строят в Туринском же уезде в ясашных волостех новую слободу к Ырбе реке. И туринским ясачным людем

стало утеснение великое. И ис тех слобод приходя, русские люди в их отчинах зверь побивают тайным обычаем и хмели дерут, и рыбу ловят, и во всем их избегают... А в Верхотурской, и в Пелымской, и в Тюменской уезд туринских ясашных татар для звериного промыслу лесовать не пушают» [28]. В этом же русле написана и челобитная туринских ясачных татар ок. 1635 года, причем не без явного содействия туринских властей [29]. Череда подобных обращений 1635, 1639, 1640 и 1641 гг. [30] прошла без видимых последствий. Вместе с тем, когда в 1644 году сам Туринск попытался завести слободу на формально туринской земле, но в пределах заведенной из Верхотурья Ницынской Ощепковой слободы, туринский воевода получил суровую отповедь государя: «И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б, будучи на нашей службе в Сибири в Туринском остроге, служил нам и прибыли искал вновь, и слободы и крестьян строил отыскивая пашни в Туринском уезде, где пригоже, а в Верхотурском уезде слобод не строил, и в земли и ни в какие угодыя не вступался, чтоб в том меж сибирскими городами ссоры не было; во всех сибирских городех порожних земель и всяких угодей много, мочно и не на спорных местех слободы и пашенных крестьян строить, только бы было радение» [31].

Если географическое пространство воспринималось через призму селективно выделяемых географических объектов, то пространство административных интересов во многом определялось населением – основным объектом (и орудием) административного управления. Иногда оно становилось едва ли не единственным фактором, конституирующим *пространство-для-административной структуры*. Население же выступало и основным объектом административно-правового освоения. Успешность этого освоения во многом зависела от возможности и/или целесообразности включения неосвоенного человеческого субстрата в структуру социума. И уже от уровня этой включенности или невключенности зависело отношение к той или иной территории. На факт восприятия пространства через призму занимающего это пространство населения, как практику московской

администрации, указывал и Д.Я.Резун: «Для Московского правительства была важна не земля, а количество платящего ему ясак населения. Можно вспомнить, как легко Москва отдала Даурию, с таким трудом завоеванную Хабаровым и Черниговским; как долго мы не хотели продвигаться в степи Казахстана и Хакасии, после того как оттуда ушли калмыки и киргизы» [32].

Северное Зауралье, вернее население его занимающее, издавна являлось объектом проявления русских экономических интересов, представлявшихся сначала новгородцами, а затем и московским государством. Сутью этих интересов было получение пушнины путем наложения дани на местное население. Новгородцы, рассматривавшие уже с XIII века Югорскую землю, под которой тогда понималась вся известная территория Зауралья, своей волостью, «указывали этим на освященное временем право или, вернее, на возможность предпринимать туда походы для сбора дани» [33]. С падением Новгородской республики и переходом Югры под юрисдикцию Московского государства процесс освоения принял более упорядоченный и предсказуемый характер. Однако постоянное русское население здесь так и не появилось, сбор ресурса, как правило, осуществлялся по заранее обговоренным условиям присылаемыми с Руси данщиками, при поддержке местной знати и «лучших» людей: «А провожать наших данщиков Югорским князем и югричем людем добрым от городка до городка и от людей до людей и беретчи наших данщиков во всем по ряду, как преж сего» [34]. Тем не менее, военные походы продолжали осуществляться, но уже в качестве более или менее спорадического явления. Этот аспект первоначального административно-правового освоения Зауралья, выразившийся преимущественно в военных походах (С.В.Бахрушин называл их набегами [35]), в том числе и походы казаков Ермака, был очень метко назван П.М.Головачевым «кочевой колонизацией Сибири» [36].

В целом, за несколько столетий, предшествовавших русской колонизации Сибири, наблюдалась определенная эволюция территориальных приоритетов, замечательным образом отразившаяся в смене обозначений,

употреблявшихся по отношению к зоне русских интересов за Уралом. «Югорская земля, – как верно подметил П.М.Головачев, – с течением времени, из общего географического термина, под которым новгородцы представляли себе всю известную тогда часть северо-западной Азии, превращается в определенный и сравнительно небольшой географический район» [37]. От себя добавим, что обратную эволюцию претерпело понятие «Сибирь», которое из обозначения относительно небольшого района по среднему Иртышу превратилось в название целого субконтинента. Югра для московского государства была уже к середине XVI столетия привычной подданной территорией, обращение с населением которой не требовало излишней дипломатической учтивости. Достаточно вспомнить грамоту 1557 года царя Ивана Васильевича в Югорскую землю, предупреждавшую: «А не зберете вы наше дани со всякого человека по соболу и к нам на Москву не пришлете, и мне на вас послать рать своя и вострая сабля» [38]. Приоритетным же для Москвы стало подчинение, или хотя бы присмирение, местного центра влияния – Сибирского царства, оказывавшего на подчиненных Москве инородцев не совсем выгодное ей воздействие. Достижение этой задачи автоматически (при отсутствии другого серьезного противника) означало окончательное включение в сферу влияния московского государства как уже освоенного, так и еще неосвоенного населения, проживающего за Уралом. По-видимому, следствием этого и стало применение обозначения *Сибирь* ко всей известной зауральской территории.

Хотя территория северного Зауралья (а с 1553 года и Сибирское царство) уже считалась частью московского государства, и даже в царский титул были внесены соответствующие изменения, вопрос о ее колонизации русским населением даже не поднимался. Думать иначе – значит подпадать под искажающее воздействие ретроспективного подхода, видеть в совокупности исторических процессов и событий некую predeterminedность, которую прошлое реально не содержало [39]. Цели административно-правового освоения достигались уже простым установлением даннических отношений

между Зауральем и Русским государством. Поступление ясака и формальные отношения подданства делали ненужными ни организацию здесь постоянных элементов русского административного управления, ни сбора какой-либо дополнительной информации об этой территории. Причем, на наш взгляд, вопрос о русской колонизации еще долгое время мог оставаться открытым, если бы были сохранены даннические отношения между местным населением и русским государством. Именно слом этих отношений со стороны сибирского хана Кучума, а также его вылазки на подвластные московскому государству пермские земли, позволили инициировать русский колонизационный процесс в Сибирь. Первым признаком этого послужили челобитные пермских промышленников Строгановых. Слом даннических отношений между Сибирским царством и Москвой практически ставил земли первого на положение «ничейных». Отсюда становится понятным удовлетворение царем прошения Строгановых о пожаловании им земель и угодий по Тоболу и его притокам. Царская жалованная грамота Якову и Григорию Строгановым от 30 мая 1574 года предусматривала «на Тахчеях и на Тоболе реке крепости им поделати, и снаряд вогняной, и пушкарей, и пищальников и сторожей от сибирских и от нагайских людей держати, и около крепостей у железного промысла, и у рыбных ловель и у пашен по обе стороны Тобола реки и по рекам и по озером и до вершин дворы ставити, и лес сечи, и пашня пахати и угодьи владети» [40]. Данная грамота также давала добро «на Иртыше и на Обе и на иных реках, где пригодитца для береженья и охочим на опочив, крепости делати и сторожей с вогняным нарядом держати, и из крепости рыба и зверь ловити...» [41]. Вряд ли такое пожалование было бы возможным при сохранении прежних даннических отношений. Боле того, текст грамоты дает вполне отчетливое представление об истинных целях русского присутствия в Зауралье – защитить экономические и политические интересы Русского государства, защищая «данных остяков, и вогулич, и югрич и жены их и дети от сибирцов от ратных приходу», а также «збирая охочих людей и остяков, и вогулич, и югрич и

самоедь, с своими наемными казаки и с нарядом своим посылати воевати, и в полон сибирцов имати и в дань за нас приводити» [42].

Однако было бы неверным оценивать позиции московского государства по отношению к Сибирскому царству как шапкозакидательские или, во всяком случае, активно-наступательные. К началу 80-х годов XVI века внешнеполитические неудачи Русского государства и внутренняя нестабильность сильно отразились на способности государя к адекватной оценке собственных возможностей. Четко прослеживается стремление его к стабилизации существующего положения, но также и боязнь действий, которые бы могли его ухудшить. Прежний наступательный порыв по отношению к сибирскому хану сменился стремлением простого недопущения военных действий на территории русского Приуралья со стороны подстрекаемого им пелымского князя. Грамота царя Ивана Васильевича от 6 ноября 1581 года относительно разорительных походов пелымского князя в приуральские владения Семена и Максима Строгановых удивительно контрастирует с предыдущим отношением к военной опасности из Зауралья отсутствием даже намеков на возможность не то что превентивных, но даже просто ответных действий с русской стороны. «А ты б, – писал государь Никите Строганову, – таково ж велел своим людем с пермскими людьми и с Семеновыми и Максимовыми вместе стояли против Пелымского князя, и воевать им не давали, чтоб вам всем от войны уберечись» [43]. Любые ответные действия «без указу», чреватые какими-либо осложнениями, приводили государя в ярость. Иначе как истеричной трудно назвать грамоту от 16 ноября 1582 года относительно посылки казаков в Сибирь и адресованную Максиму и Никите Строгановым. Еще не имея сведений об успешности похода Ермака, начало которого совпало с очередным набегом Пелымского князя на пермские земли, царь Иван Васильевич во всех бедах, обрушившихся на Чердынь и другие пермские места, обвинил Строгановых. «И то зделалось, – писал он им, – вашею изменою: вы вогуличь и вотяков и пелынцов от нашего жалованья отвели, и их задирали и войною на них

приходили, да тем задором с Сибирским салтаном ссорили нас, а волжских атаманов, к себе призвав, воров, наняли в свои остроги без нашего указа. А те атаманы и казаки, – припомнил государь их прежние провинности, – преж того ссорили нас с Нагайскою ордою, послов нагайских на Волге на перевозех побивали, и ордобазарцов грабили и побивали, и нашим людем многие грабежи и убытки чинили...» [44]. Иван Васильевич потребовал вернуть казаков и направить их на охрану пермских пределов. «А не вышлете из острогов своих в Пермь волских казаков атамана Ермака Тимофеева с товарищи, – предупреждал он, – а учнете их держати у себя и Пермских мест не учнете оберегати, и такую вашу изменою что над Пермскими месты учинитца от вогуличь, и от пелынцов, и от Сибирскаго салтана людей вперед, и нам в том на вас опала своя положить большая, а атаманов и казаков, которые слушали вас и вам служили, а нашу землю выдали, велим перевешати» [45].

Таким образом, вряд ли можно серьезно говорить о какой-либо предустановленности в русской колонизации Сибири, по крайней мере, до «взятия» ее Ермаком. Период разрыва даннических отношений между Сибирским царством и Москвой характерен метаниями последней, неуверенной в своих силах и не имеющей достоверной информации о своем противнике. Снаряженная Строгановыми экспедиция под предводительством Ермака «имела громкий успех, но именно только громкий, а не прочный. Она была, в сущности, простой рекогносцировкой, показавшей, что Сибирь можно покорить, но сама по себе не привела к покорению Сибири» [46]. Действительно, историческое значение похода Ермака состояло не в военной, а в информационной плоскости; это предприятие сломало информационные барьеры и резко изменило поведение московского правительства. Хотя тот факт, что следующий поход был организован правительством только через год после получения известия о смерти Ермака, дал повод П.Н.Буцинскому заявить следующее: «...правительство Федора Ивановича слишком долго думало над сибирским вопросом, прежде чем принять то, или иное решение.

Очевидно, оно было поражено катастрофой, случившейся с Ермаком и его храбрыми сподвижниками, и не знало на что решиться» [47]. Тем не менее, если ранее завоевание Сибири рассматривалось как откровенная авантюра, могущая повлечь нежелательные для Русского государства последствия и потому отдавалось на страх и риск частных лиц – Строгановых, то теперь, после «громкого» успеха Ермака, правительство поспешило взять инициативу в свои руки. Противник неожиданно оказался слаб, и только с этого момента колониальная судьба Сибири оказалась практически предрешенной.

Несмотря на появившуюся у Москвы уверенность в своих силах, страх перед местным населением был характерен для всего процесса организации русского населения, как на первом этапе колонизации Зауралья, так и на более поздних ее этапах. В целом, административно-правовое освоение не отвергало инородцев, не старалось исключить их из своей структуры, но, напротив, стремилось максимально полнее интегрировать их в свою систему функционирования (хотя применение по отношению к ним таких обозначений как «инородцы» и «иноземцы», а также другие проявления некой дистанцированности, все же указывали на определенные границы такой интеграции). Эта интеграция не ломала традиционных властных структур местного населения, но также включала их, хотя и в несколько усеченном виде, во властную структуру государства-колонизатора. Местная знать именовалась княжескими титулами, представители ее имели некоторые преимущества и в получении различного рода административных должностей. В случае наделения инородцев функциями, которые они выполнять были не в состоянии, правительство шло навстречу их пожеланиям. Так, известно, что жители многих инородческих юрт, через чьи земли пролегали дороги, связывавшие сибирские города, обязаны были исполнять функции ямских охотников. В результате этого, многие из таких «ямщиков» в своих челобитных постоянно жаловались на эту тягость и были неисправны в этом деле, так как оно было им «не за обычай». Такие прошения удовлетворялись и на «ямскую гоньбу» переводились и записывались ямщики

и гулящие люди из метрополии. Несмотря на кажущийся неуспех включения инородцев в структуру колонизирующего государства в данном конкретном случае, успех административно-правового освоения здесь налицо: сам факт подобных прошений красноречиво показывает включенность хотя бы части инородцев в контекст бюрократического механизма государства-колонизатора.

На микроуровне проявления административно-правового освоения, связанного с межеванием, принесенные русской колонизацией механизмы административно-хозяйственного территориального разграничения оказались замечательным образом близкими существовавшим до того механизмам, которые русское административно-правовое освоение также не отвергло, но, напротив, включило в свою практику. В 1646 году, при проведении размежевания Туринского и Верхотурского уездов, туринский сын боярский Семен Шарыгин отметил у устья реки Реши «туринских ясачных татар с верхотурскими вогуличи старинные затеси на двух соснах по их вере». Он же застал на речке Бобровке туринского ясачного татарина и верхотурского ясачного вогула, ловивших бобров: «А на той речке меж ими грань... их татарские признаки» [48]. И в том и в другом случае местные межевые признаки, после соответствующего подтверждения их древности показаниями окрестных людей, были включены в межевую систему, устанавливаемую русской властью.

Переятым русской властью оказались и существовавшие здесь до того отношения подданства, зафиксированные в таком их атрибуте как *ясак*. Сбор его играл несколько очень важных для государства-колонизатора функций. Во-первых, он устанавливал де-факто отношения подданства, что делало возможным «правовое» (как оправдание силового) давление на инородцев в случае нарушения этих отношений. Во-вторых, привычность ясака делала издержки колониальных властей по налаживанию новой структуры присвоения материально-энергетических ресурсов минимальными, а промысловое освоение руками инородцев – максимально рентабельным.

Таким образом, четко прослеживается стремление государства к минимизации издержек в процессе освоения местного населения, к созданию условий его бесконфликтного включения в структуру функционирования социума.

Вместе с тем, государство различало инородцев, так или иначе интегрированных в его структуру, т.е., если так можно выразиться, освоенных, и инородцев, пока не поддающихся такой интеграции, т.е. освоению. На первых этапах колонизации «неосвоенными» были практически все сибирские инородцы. Так например, при строительстве первых сибирских городов запрещалось инородцам быть в строящемся городе и вообще запрещались тесные контакты их с русскими («а стояли бы под городом, а в город их не пущать, покаместа город укрепится, чтоб и[м] людей государевых не смечать»), и все это не смотря на то, что эти инородцы активно участвовали в острожном и городском строительстве (им надлежало «лес ронить и привозить под город») [49].

Также это выражалось в запрете на продажу им так называемых «заповедных» товаров. В царской грамоте 1596 года тюменскому воеводе о торговле в городе бухарцев и ногайцев содержался наказ: «А того б есте над ними смотрели и берегли накрепко, чтоб они заповедным товаром: доспехи, и пансыри, и саблями, и ножи, и топоры – с юртовскими и с ясашными татары не торговали» [50]. В ряде челобитных 1598 года местные инородцы просили дозволения «по прежнему торговати с русскими людьми топоры и ножи и котлы», потому как «нам, государь, без топоров, и без ножей, и без пешен прожить невозможно, нагим и босым и голодным быти, и твоего государева ясаку добывати нечем», а «мастеров, государь, у нас в нашей бусурманской вере нет, ни дровишек, государь, усетчи нечем, и на зверя, государь, засеки сделать без топора не можно и нечим; а обуви, государь, зделати без ножа не можно ж» [51]. Только грамотой от 17 мая 1598 года пелымскому голове Дементию Юшкову было позволено топоры и ножи «не от многа им у торговых людей про свою нужу купити» [52]. Но и впоследствии подобная

торговля вызывала неодобрение властей. Так, в 1613 году в Москву доносили из Верхотурья, что пермичи возят «на Сылву и на Ирень заповедные товары: доспехи, и сабли, и топоры, и ножи, и торгуют с татары и с остяки; а те де татаровя и остяки тем заповедным товаром торгуют с нагайскими людьми» [53]. Эти ограничения на свободную торговлю с инородцами наблюдались на протяжении всего рассматриваемого периода и были отменены лишь в 1822 году «Уставом об управлении инородцев».

Таким образом, государство само ставило барьеры процессу освоения. Нельзя освоить что-либо, не сделав объект освоения в чем-то похожим на субъект. Но тем самым дальнейший процесс освоения может стать для субъекта не только затруднительным, но и опасным. В этой связи понятна реакция административной структуры по ограничению степени похожести объекта освоения на субъект. Государство стремилось обезопасить себя от возможных проблем с инородцами.

Такого же рода барьеры воздвигались и в отношениях с пока еще «неосвоенными» инородцами и кочевниками. Запрет на торговлю заповедными товарами с калмыками в государевой грамоте на Тюмень 1623 года: «А будет учнут приехать к вам к Тюмени з базаром, и вы б с ними торговать велели и лошади покупать, а им бы есте самопалов, и сабель, и рогатин, и копей, и топоров, и ножей, и сайдаков, и стрел, и иново никаково ружья и железа продавать не велели» [54]. В начале XVIII столетия: «А торгу б с оными киргиз кайсаками никакого не имели, ружья, пороху и свинцу и протчая тому подобнаго под смертной казнью не возили... а кто из них для торгу с русскими ехать пожелает, оные б с товарами ехали к крепости Челябинской, небольшими людьми не более 25 человек» [55]. Подобные меры мы видим и по отношению к «изменившим» башкирам, во время очередного обострения конфликта с ними в 1736-37 годах. Было повелено «съезды башкирцами с ружьями накрепко запретить, чтоб никто в башкир низачем без указу от них неездили и озер и хмелевья у них не откупали... чтоб башкирцом без указов харчу и железа никто не продавали...» [56]. То же самое

предписывалось исполнять и мещерякам: «...чтоб они без указ в башкир не ездили, башкирцам ничего не продавали, своих дочерей башкирцам в супружество не давали и у них не брали под опасением жестокого наказания...» [57]. В последнем случае особое выделение мещеряков следует расценивать не как свидетельство отличия их от прочих государевых подданных, но как вынужденную со стороны государства меру по укреплению наиболее слабого звена в своей структуре, каковым объективно делали мещеряков их близкие этнические и исторические связи с башкирами.

Излишняя закрытость порождала фобии, которые, вкупе с другими факторами, серьезно влияли на качественную специфику колониальной поселенческой структуры, создавая феномены, один из которых проанализирован нами в 3-ем параграфе 2-ой главы.

Эта закрытость и недоверие вырастали в целую стратегию по искажению реального образа русской колонии в глазах инородцев и иноземцев. Так, в царской грамоте тюменскому воеводе Григорию Долгорукому от 31 августа 1596 года указывалось: «...как бухарские или нагайские торговые люди с торги на Тюмень приедут... и в тое б пору у вас в городе и в остроге было людно, и служивые люди: литва, и казаки, и стрельцы стояли с ружьем, и приставов к тем послам приставливали из служилых людей... А того б есте над бухарцы и над нагайцы велели смотреть и берегли накрепко, чтоб бухарцы и нагайцы в городе никаких крепостей и людей не рассматривали и не лазучили, и с русскими людьми и с татары, опричь торговли, никоторых разговорных речей не говорили, и нужи б они сибирские никоторые не ведали; а рассказывали б бухарцам и нагайцам, что сибирские города добре людны и ничем не нужны...» [58]. В государевой грамоте на Тюмень от 30 октября 1623 года читаем: «...будет в Тюмень ис которых колмацких улусов или Алтыновы послы учнут приходить, и вы б им велели быти у себя за городом, где пригоже, в шатре или где на дворе за городом, а не в городе. А те поры было б у вас людно и стройно и бережно во всем, а не оплошно ни в чем» [59]. Такие же ограничения касались и иноземных торговцев: «А как

приедут з базаром, и в те поры б у вас в городе однолично во всем было бережно, и крепостей им росматривать отнюдь не давали и долго их в Тюмени не держали» [60]. При отправке обратно посланника царевича Девлеткирея в 1637 году тарский воевода велел его «с торговыми бухарцы вести пустыми и крепкими месты и того беречи накрепко, чтобы те Девлеткиреев посланник и бухарцы ничево не росматривали и не розведывали. И провожаючи... велел в них выведывать всякими мерами ласкою: прямо ль Дивлеткирей, Кучумов внук, присылал того посланника своего Баянка с прямою правдою, что хочет он быть под твоею государевою царского величества высокою рукою, или он присылал чево высматривать и розведывать и не татар ли присылал подзывать» [61]. В 1640 году тобольские посланники говорили Куле тайше, что ныне по «государеву указу присылают в сибирские города из русских городов русских людей, человек по 500 и больше, на всякой год для тово, что в русских городех людей умножилось и не для войны; а которые будет орды будут немирны, учнут с... государевыми людьми чинить задоры, с ним терпеть не учнут» [62]. Самое страшное оружие противника это наличие у него достоверной информации о вас. Если перекрытие доступа к этой информации не является возможным или целесообразным, особое значение приобретают усилия по включению в ваш информационный образ у противника заведомо недостоверной или преувеличенной информации.

В период Смуты необходимо стало скрывать не только и не столько то, что происходило в колонии, сколько то, в каком состоянии была метрополия. В этом случае наличие плотных информационных фильтров позволяло избежать резкой нивелировки «разности потенциалов» между крайне структурно неустойчивой и ослабленной метрополией и более или менее устойчивой, но еще слабой структурно, колонией. Любая информация о происходящем в метрополии, ставшая достоянием инородцев, расценивалась как признак «воровской шатости и измены». Весной 1609 года писал на Верхотурье с соляного промысла Ворошилко Власьев: «...приходили де к

нему Ворошилку из Неглу с верх Сосвы реки Верхотурского города уезду ясачной вагулятин Цыба Албаутов да Пелымского города уезду сосвинской же вагулятин сотников Кумысов сын Андрюшка, и спрашивали де у него Ворошилка те вагуличи про русские вести, и про запасы, и про однорядки, и сколько де у тебя наемных людей и много ли пищалей... а про русские де вести ты Ворошилко нам не сказываешь, и мы де про русские вести и сами ведаем, что на Москве русские люди меж собою секутся... Да Кумычев же де сын Семейка, приходя с Сосвы на Туру реку, по юртам у ясачных татар и у вагулич про русские вести проведывает... неведомо для чего» [63]. Летом 1612 года в Пелым поступила информация, «что приехали с верх Лозвы, с Вишеры, вагуличи в Пелымской уезд в Сынкину сотню к Сынке к сотнику с товарищи для воровского совета и умышления; а говорят де они пелымскому сотнику Сынке: с нас де сего году ясаку не хотели взять, а хотели де нас лозвинских и вишерских вагулы на Русь в войну везти...» [64]. Подобная интерпретация событий в метрополии привела к тому, «что хотят де вагуличи в сибирских городех воевать, чем де нам итти на Русь воевать в войну... государя де ныне на Москве нет, ныне де одни в Сибири воеводы, а людей де мало русских во всех сибирских городех» [65].

Соккрытие информации проявлялось и в стремлении утаить от возможных врагов или конкурентов коммуникационные линии как в колонии, так и в метрополии. А поскольку универсальных способов передачи пространственной информации не существовало, или они были неразвиты, резко возрастает значение отдельных людей, знавших пути проникновения на те или иные территории. Соответственно, важным было недопустить разглашение этими людьми важной информации. Так, в государевой грамоте от 20 марта 1616 года мангазейскому воеводе содержится наставление: «А о том бы есте заказ учинили крепкой промышленным людям и ясашным татаром, чтоб они немецких людей на Енисею и в Мангазею отнюдь никак не пропускали, и с ними не торговали, и дорог им ни на которые места не указывали. А будет кто с немецкими людьми учнет торговать или дорогу

учнет указывать, и тем людям от нас быть в великой опале и в казни» [66]. В 1623 году в государевой грамоте на Тюмень: «А к Москве б есте колмацких и Алтыновых послов не отпускали, а отказывали б есте им об отпуску к Москве для тово, что колмаки люди многие и воинские, и они б к Москве пути не узнали, чтоб не учили также приходить на наши украины изливом, что нагайские люди» [67]. Впрочем, эти меры становились бессмысленными перед практикой захвата «языков». Летом 1629 года в Туринском уезде прокатилась тревожная весть о том, что калмыки разбили татар на Утеше озере «и, языков побрав, идут в Тюменской да в Епанчинской уезды под государевы слободы» [68]. 18-го ноября 1631 года прибежал из плена на Ишимскую заставу татарин и «сказал, что поймали колмыки и тарские татары изменники на Камышлове реке Ишимсково острожку на звериных промыслах ясашных людей 4-х человек, и те де ишимские ясашные люди навели колмаков и тарских татар на верхвагайских на капкайских на ясашных людей на промыслу на дву человек; и учили де колмаки и тарские татара говорить тем Капкайской волости ясашным людям, которых поймали на промыслу дву человек: поведите их на свои юрты в Капкайскую волость; и те де мужики... им сказали... што де мы и сами не можем поймать в свой юрт, а блудимся, и колмаки и тарские татара тех капкайских ясашных людей двух человек тут же на смерть побили; а навели на ту Капкайскую волость Ишимсково острожку ясашные люди, которых колмаки и тарские татары взяли на промыслу на Камышлове» [69]. В результате этого рейда были разорены Капкайская, Тебендинская и Коурдацкая волости. Еще больше неприятностей могли принести вожи-изменники, не только знавшие пути, но и имевшие информацию о характере организации обороны в колонии. Осенью 1634 года говорили тобольским служилым людям на Ямыше озере русские и ногайские пленники, «что государев изменник тарской татарин Кочашко Танатаров прошает у Куйши таиши воинских людей куяшников, а хочет де проитти по сибирские города и на ясашные волости, а дорогу де он ведает, проидет де промеж озер и болот, а ныне де в городах людей мало, розъехались все по

службам» [70]. Весной 1635 года тюменский татарин-изменник Тимошка искал своего зятя Бекенейка, чтобы использовать его в качестве проводника на государевы слободы и ясачные волости. Узнав это, чубаровские татары били челом о Бекенейке, чтобы взять его на Чубарово, говоря: «как де тово Бекенейка не возьмете на Чюбарово, а возмут его колмацкие люди, и на нас и на государевы слободы он будет вож» [71].

Поначалу государство пыталось договариваться со своими противниками (конечно, когда не имело возможности воздействовать на них силой или угрозами применения оной). Однако такие инициативы обычно встречали обратную реакцию – страх и недоверие. Так, посланное в 1623 году из Тобольска посольство сына боярского Дмитрия Черкасова к калмыцким тайшам чуть не закончилось печально для послов. Наехав на верховьях реки Абуги тайшей Бобугу, Кузеняка и Каназара, «он Дмитрей с товарищи учал по наказной памяти говорити тайшам: послали де ево ис Тобольска боярин и воеводы Матвей Михайлович Годунов с товарищи вам тайшам говорити государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси великое величество и жалованное слово, чтоб вам тайшам быти под государевой царской высокою рукою, а на государеве бы вам земли тайшам не кочевати, и на государевы волости с войною не приходити, и на зверовье зверовщиков не побивати и не грабити, и вам бы тайшам на том государю шертъ дати и утвержение по своей вере; и Бобуга, да Кузенек, да Каназар тайши ему дали разговорити: мы тайши кочюем по своей земле, а не по государеве, а под государевою де рукою мы не хотим быти, хотим де мы з государевыми людьми воеватца. И Бобуга, да Кузенек, да Каназар его Дмитрея с товарищи, пограбя, хотели убити: вы де едите к нам обманом, хотите де нас воевать» [72]. Вместе с тем, уже к этому времени в калмыцкой среде начинают проявляться первые результаты русского административного освоения. Забравший этих горе-послов в свой улус тайша Зенгул «те речи их выслушав, и говорил им Зенгул тайша: скажи де ты, Дмитрей с товарищи, боярину и воеводе: кочевал де я меж Тарсково города и Тобольских уездов, и тюменских

де зверовщиков всегда видал, и я де им дурна никоторого не учинил; да коли б де я похотел воевать государевы волости, и я бы де не боясь под город под который подшел, хлеб бы вытоптал, и сена выжег, и деревни б все вывоевал, только бы один город остался, и я де не хочю з государевыми воеватца людьми, под его царскою высокою рукою быти, хочю де, как наши большие тайши с вашими бояры и с воеводами ссылаютца...» [73].

Впрочем, оказалось, что тайшей слишком много и договорные отношения с некоторыми из них отнюдь не снижали уровень калмыцкой угрозы. А усилия государства по освоению кочевого населения не покрывались возможными выгодами; освоение это явно было нецелесообразным. Это заставило Москву пересмотреть свое отношение к дипломатическим связям с кочевниками. Отныне сношения с калмыками отдавались на усмотрение местных властей, и то только если «будет с ними безсылки быть нельзя», а в Москву их велено не отпускать, поскольку «прибыли в них нет никоторый, исылке быть с ними не о чем, люди не ученые, безграмотные, к ним грамот посылать не для чего, прочитат не знают и сами писать не умеют» [74]. Вместе с тем, у присланных тайшами послов поминки повелено было принимать, посылая взамен «наше жалованье, сукна или однорядки, что пригож, смотря по их поминкам, чтоб их присылки стоило, для того чтоб их от нашего царского жалованья не отогнать» [75]. Вместе с тем, и это решение власти вызывало не вполне ожидаемую реакцию: отказ от приема послов иногда воспринимался кочевниками как достаточный повод к войне [76].

В ответ на челобитную 1628 года тюменских ясачных татар о невозможности впредь платить ясак из-за близкой подкочевки калмыков, которые у них ясачные угодыя отнимают, а самих ясачных татар на промыслах грабят и убивают, власть повела себя как всегда (когда не была уверена в своих силах) деликатно и дипломатично. В ответной государевой грамоте было указано: «...как колмацкие будут люди прикочуют блиско ясачных волостей, и вы б х колмацким людям посылали говорить, кого буде

пригоже, чтоб они колмацкие люди блиско тюменских ясачных волостей на реках и на угодьях ясачных людей не побивали и тюменским ясачным татаром насильства и налоги никакие не чинили, и откочевали бы от тюменских волостей в дальние места» [77]. С подобного рода речами отправлялись посланники к калмыкам с Тюмени и с Тары в 1631-32 гг. [78]. Нечто похожее встречаем и впоследствии (1742 год): «...ежели когда они будут иметь съезд с киргис кайсаками, то б объявляли чтоб они кайсаки за Тобол реку с кошами своими и лихими людьми ни для чего отнюдь не переходили, и близь Тобола со степной стороны на рыбные и прочих промыслах русских отнюдь обид не чинили под опасением ея императорскаго величества гнева...» [79]. Подобные попытки «магического» воздействия на неуправляемого и непредсказуемого в своих инициативах противника несомненно свидетельствовали о слабости и растерянности административной структуры колонии.

Наличие достоверной информации о противнике есть наиболее серьезное и действенное оружие. Колониальная структура в лице ее администрации стремилась, пусть и на достаточно примитивном уровне, наладить механизм по сбору сведений о своем основном враге – кочевниках. Во-первых, данные сведения получались путем «подключения» к информационному пространству кочевников, и поступали по преимуществу в виде слухов. В качестве передатчиков этой информации использовались посланники к кочевникам, а также сибирские инородцы, имевшие куда более частые и тесные связи с кочевым миром. Иногда административно закреплялось наличие таких людей в местах, где можно добыть интересующую информацию. Так, в указе 1742 года об отправке крестьян Успенского Далматова монастыря на рыбные и хмелевые промыслы в степное Уйское поселье содержится требование, чтобы «при оных бы промышленниках был толмач знающей татарского языка, особливо же знающей русской грамоте, и писать, чтоб чрез их можно было выдать тамошние киргиз кайсацкие происходимые поступки, и намерения и из других орд к ним приход, и... чтоб

они ежели что о их поступках и намерениях уведается... то б немедленно сюда с нарочными знать давали» [80]. Во-вторых, широкое распространение в XVII столетии получили так называемые «проезжие станицы» – небольшие отряды служилых людей с разведывательными функциями. Численность их и радиус деятельности отдавались обычно на усмотрение местных властей. Станицы, посылаемые из городов, достигали иногда численности в несколько десятков человек и доходили до мест крайнего юга Зауралья – по рекам Уй, Тогузак, Абуга. Существовали и мелкие стационарные наблюдательные пункты – «сторожи» и «караулы», куда временно посылались служилые люди. Впрочем, вряд ли эта практика была сколько-нибудь действенной. В середине XVII века в Туринском уезде на отъезжие караулы и на заставы посылались всего 2 человека. Из Тюмени «на отъезжие сторожи на Пышму реку, на 3 месте, безпрестанно попеременно Руских служилых людей и Татар, по 12 человек, на место по 4 человека, стоят во все лета. В проезжие станицы летом и зимою покаместо снеги болшие укинут, посылают служилых Руских людей и Татар на 3 урочища до усть Иботи (видимо, Исети – В.П.) реки и до Белого Городища и до Елбаева жилища по 3 человека в станицу... и тем людем службы в городе, для обереганья от воинских людей и в приход в поле по задору воинских людей, недель по 5 и по 6, и в проезде станицы дней 10 и на отъезжие сторожи понеделно, посылаютца поочереденно» [81].

Разведывательной деятельностью занимались и кочевники. Сведения о небольших кочевых группах, собирающих информацию о возможном характере сопротивления русских в случае набега, достаточно часто встречаются в административной переписке [82]. В 1643 году царевич Девлеткирей просил в калмыцких улусах людей на войну под сибирские города под Тюмень и Тару: «...а сказывал де царевичь в улусе, что он был под Тюменью летом и подсматривал, а говорил де в улусе, что под Тюменью живут люди оплошно, по прежнему воевати де их мочно» [83].

Если по отношению к неосвоенному населению (местному инородческому или кочевому) административная структура применяла

средства освоения, то по отношению к уже освоенному населению (как русскому, так и инородческому) главной задачей считалось упорядочивание. В первую очередь упорядочению подлежали информационные потоки, как вертикальные (между центром и колонией), так и горизонтальные (внутри колонии). Летом 1595 года с Тюмени бежали 50 человек татар. Посланным за ними людям сообщили, что «побежали они из города для того, что слышали они от толмача от Мити от Токманаева, сказывал им, что приедут в Сибирь ныне воеводы новые, а с ними де наш указ, что велено из них из киньрцев и из башкирцев, выбрав лутчих людей 12 человек, побить, а иных сослать на Тару и с женами и с детьми, а которые худые останутца, и на тех велено положить пашня, по 5 чети ржи сеять» [84]. Реакция власти, всегда жестко следившей за аутентичностью исходящей от нее информации, последовала незамедлительно: «А толмача Митю Токманаева за воровство, что он воровал, смуту и ссору сделал в волостях в ясашных и в служилых людех великую, велели ево бити кнутом по торгом передо всеми служилыми и ясашными татары и посадили его в тюрьму до нашего указу, чтоб неповадно было впредь иным вором так воровать, смуты и ссоры в волостях в ясашных людех и в служилых татарех делать» [85]. В 1733 году среди крестьян вотчины Далматова монастыря и соседних с ней слобод, видимо как ответ на все большее окоснение поселенческой структуры, стали распространяться слухи, будто по указу ее императорского величества велено «в степные места в башкирские жилища по речке Увельке селитца вновь, будто для... государственной прибыли брать людей отовсюду из слобод и из монастырей кто пожелает» [86]. «Милостивые указы», к которым И.В.Побережников относит реальные указы, подвергнутые утонченной интерпретации; подложные указы; пожелания социальных низов, приписанные монаршей воле [87], являлись достаточно серьезным фактором, искажающим информационные потоки и способствующим нарастанию непонимания и, как следствие, конфликтности в обществе. Однако нельзя сказать, что государство не видело этой проблемы и не стремилось унифицировать

информационное пространство подконтрольной территории. В этом отношении представляет интерес указ Петра I от 10 февраля 1720 года. Речь в нем идет о доведении до масс информации о правительственных денежных и других сборах. Во-первых, было повелено посылать печатные (а не рукописные как ранее) указы, «которые как в городех, так и в уездех, в народе публиковать, и по селам розсылать, и отдавать попам, а им в церквах оные указы, по вся праздники, и воскресные дни, для ведома прихожан читать, чтоб всяк о тех зборах подлинно был сведом, и никому б нельзя было прибавить или убавить» [88]. Таким образом, прилагались усилия, чтобы правительственные распоряжения доходили до масс в максимально аутентичной форме. Во-вторых, это в некоторой степени сужало возможности злоупотреблений в самой административной структуре: «А буде кто сверх того что станет брать лишнее, то... за оное преступление чинить смертная казнь, или вечная ссылка на галеру, с наказанием и вырезанием ноздрей, и лишением всего имения...» [89]. Иными словами, данный указ попытался максимально снизить информационные искажения на пути между правительством и массами, а значит и максимально унифицировать эти массы путем доведения до них единообразной информации. Впрочем, в аутентичности информации, протекавшей во властной вертикали, объективно были заинтересованы и сами народные массы. И.В.Побережников отмечал, что согласно воззрениям крестьян «царские приближенные и местная администрация создают информационный барьер между монархом и народом», поэтому о многочисленных злоупотреблениях сановников государь не всегда ведает [90]. Аутентичность информации, таким образом, разрушала порочную концепцию «народного монархизма», эксплуатировавшую надежду на долгожданное вмешательство «доброего», но неинформированного монарха.

Горизонтальные унификационные процессы в самой колонии также представляют большой интерес. Как правило, процессы эти были связаны с информационным обменом, который, в свою очередь, вызывался в основном

ротацией служилого населения между элементами колониальной поселенческой структуры. Ротация служилого элемента в северных сибирских городах была связана, по-видимому, со сменой воевод. Так, по государеву указу от 25 января 1603 года производилась смена мангазейских воевод. К этому было приурочено следующее распоряжение: «А служивых людей велено послать в Мангазею прежним служивым людям на перемену, выбрав из тобольских литвы и казаков и стрельцов с атаманом 50-т человек да с Березова с атаманом казаков 50-т человек» [91]. В центральной и южной частях Зауралья ротация служилых людей была связана в основном с периодами повышения военной опасности со стороны Степи или другими чрезвычайными обстоятельствами (например, возведением нового острожного или городского строения взамен сгоревшего или обветшавшего). Осенью 1603 года туринский голова И.Лихарев писал тюменскому голове А.Безобразову о необходимости присылки с Тюмени в Туринский острог «служилых людей на время 10 человек, чтобы... над острогом от воинских людей приходу порухи не было, ни над хлебом» [92]. А.Безобразов в людях отказал, посоветовав обратиться в Тобольск, что спровоцировало донос И.Лихарева в Москву: «...а яз о том ко государю царю и великому князю Борису Федоровичу всеа Русии писал, что яз к тебе на Тюмень о 10-ти человеках писал...» [93]. Та же ситуация повторилась в 1609 году. Тюменский воевода М.Годунов отписывал туринскому воеводе И.Годунову: «Да писал ты нам о служилых людех, чтоб прислать в Туринской острог; и на Тюмени служилых людей мало, писать тебе о служилых людех в Тоболеск» [94]. Практиковались краткосрочные отправки служилых «по вестям» и в слободы. Но и здесь не все было гладко. В Чубаровскую слободу посылали «туринских стрельцов в год помесячно по 5 человек без переводно, а с нынешняго со 148-го году... ис Туринского острогу не учили посылать ни по одному человеку, не ведомо для какие меры» [95]. На появившиеся вскоре тревожные вести приказчик Чубарова Я.Шульгин просил отписать из Туринска «будут ли ис Туринсково острогу на Чубарово служилые люди на обереганье или мне на

их не надеется» [96]. Таким образом, с одной стороны, «дефицитность» служилого населения в колонии в некоторой степени тормозила информационный обмен, но с другой, она же определяла и его бóльшую эффективность, поскольку вовлекала в ротационные процессы одни и те же элементы. Информационный обмен осуществлялся и благодаря небольшим срокам нахождения в должности (в среднем 2-4 года) и ротации представителей управленческого звена колонии, начиная от приказных в слободах и острогах и заканчивая городскими головами и воеводами.

Значительная ротация служилого и низшего административного элемента по населенным пунктам Сибири, а также частая сменяемость представителей высшего, воеводского управления, вызывали интенсивный информационный обмен не только внутри колонии, но и в ее отношениях с метрополией. Это с одной стороны способствовало многократному дублированию структурной информации из метрополии, но с другой, такому же распространению в пределах колонии подвергались и новоприобретенные здесь мутации. Тем не менее, подобная практика делала колонию содержательно более однородной и структурно более целостной.

Отношения между метрополией и колонией характеризуются усилиями первой по унификации организующейся колониальной структуры, подведению ее под некий стандарт. Поэтому мутации колониальной структуры не всегда игнорировались или воспринимались благосклонно в метрополии. П.Н.Буцинский писал: «Так как первыми насельниками Сибири были русские люди из северных областей, где они и прежде сталкивались с разного происхождения инородцами, то и поселившись за Уральским хребтом им пришлось встретиться уже с знакомыми народностями, с теми же остяками, вогулами и татарами, с которыми они сталкивались в разных местах и в европейской Руси; язык, вера, нравы и обычаи этих инородцев давно известны были русским людям. Вследствие этого завоеватели не живут замкнуто от покоренных; ни те, ни другие не чуждаются особенно друг друга» [97]. Ослабление властных структур и резкое увеличение хаотичности

начальной структуры колонии, делали последнюю особо восприимчивой к местным влияниям. Впрочем, даже сам по себе факт нарастания деструктивных асоциальных явлений в колонии вызывал определенную озабоченность в метрополии. Д.Я.Резун отмечал, что «отдаленность центральной и воеводской власти приучала сибиряков к бесконтрольности в своих действиях. Отсюда многочисленные случаи лихоимства и воровства. Очень часто фронтирные поселения долгое время существовали без церкви и священнослужителей, что приводило к ослаблению морально-этических норм и запретов» [98]. Последний аспект был особенно серьезно воспринят в метрополии. Поскольку морально-бытовые нормы наиболее инертны, консервативны, а мутации в них воспринимаются с наибольшим неприятием, в метрополии с особой чувствительностью относились к сведениям о состоянии морали и бытовых обычаев сибирских колонистов. По-видимому, самой серьезной реакцией подобного рода из метрополии было знаменитое обращение патриарха Филарета к сибирской пастве «О повреждении нравов в Сибири» [99]. Памятуя о том влиянии, которое оказывал патриарх на своего сына и царя Михаила Федоровича, данное обращение можно считать официальным мнением государства на происходящие в колонии процессы.

В целом, административно-правовое освоение Зауралья явилось самым быстрым, и едва ли не самым успешным, в ряду других аспектов его освоения. Вообще, в литературе о колонизационных процессах в Сибири, освоение южных районов Зауралья связывается с расселением на его территории русского населения. Тем самым, возникает картина поступательного включения южных территорий под юрисдикцию Русского государства и, следовательно, их поступательного освоения. Такой взгляд, по нашему мнению, совершенно неправомерен. Практически **вся территория** Зауралья (кроме, может быть, южной части Тоболо-Ишимской равнины) стала рассматриваться в качестве «государевой» уже к концу XVI столетия. Причем, южная оконечность Зауралья (Миасско-Уйское междуречье) стала восприниматься в качестве таковой едва ли не раньше, чем более северные

территории (от Миасса до Пышмы): башкирская Каратабынская волость по левобережью р. Уй принадлежала к Уфимскому уезду. Причем, это владение ни в коем случае не следует рассматривать как чисто декларативное. Факт изначального освоения этой территории Русским государством столь же реален, сколь реален был ясак, добываемый здесь сибирскими инородцами. Этническая же принадлежность социального субстрата, играющего роль орудия освоения, не имеет для административной структуры принципиального значения.

Впрочем, «полуденная» часть Зауралья осваивалась и русскими людьми, правда первоначально можно говорить лишь о «слабых» формах освоения, проявлявшихся по преимуществу в виде получения информации об этой территории. Так, вопреки сложившемуся стереотипу о том, что незаселенные русскими южные районы Зауралья представляли для них «страну неизвестную», имеющиеся сведения позволяют предполагать обратное. Случаев прямого знакомства русских людей с этой территорией было более чем достаточно. В 1596 году служилые люди Тюмени, русские и татары, совершили военный поход в Каратабынскую волость, факт которого, правда, ими впоследствии отрицался [100]. С самого начала XVII столетия практиковалась посылка государевых посланников из Тюмени «в тобольские и ишимские вершины» к кучумовым царевичам, с предложением к ним идти «под высокую царскую руку». Уже в это время посланники доходили до мест по верхним притокам Тобола – рекам Абуге и Ую [101]. Этих пределов часто достигали и проезжие станции. Подобные «мероприятия» известны на протяжении всего XVII столетия. Территории, находящиеся далеко к югу от пределов русского расселения, спорадически посещались и русскими промысловиками. Все это, конечно же, не означает, что колонисты были всегда заранее хорошо осведомлены о месте нового заселения. Однако сам факт таких поездок русских людей если и не нес положительной информации о юге Зауралья, то позволял победить страх перед новыми землями, делал их в какой-то степени «своими». По-видимому, подобная ситуация является

характерной чертой такого явления как *фронтир*, где освоенность и неосвоенность соседствуют, взаимопроникают и взаимообуславливают друг друга. Вполне освоенная административно, южная окраина Зауралья еще и во второй половине XVII столетия представлялась русскому населению притягательной, но тем не менее опасной, и всего лишь фрагментарно знакомой, землей.

2.2. Пространство промыслово-промышленного освоения

Прежде всего, необходимо более отчетливо определить смысл используемого нами термина «промыслы». Считаем целесообразным следующее подразделение его значений: во-первых, промыслы первого рода как тип хозяйственного освоения (наряду с земледелием и скотоводством); во-вторых, промыслы второго рода как тип вторичной хозяйственной деятельности, основанной на переработке ресурса, добытого освоением первого рода (промысловым, земледельческим или скотоводческим). Промыслы второго рода в силу своей вторичности и несамодостаточности играли весьма незначительную роль в организации населения колонии и особо рассматриваться нами не будут.

Имеющая тесную генетическую связь (не только этимологическую, но и сущностную) с промыслами, промышленность будет также затронута в нашем исследовании в той мере, в какой она влияла на рассматриваемые нами аспекты пространственной организации населения. Как и в случае с промыслами, считаем необходимым разделить промышленность на промышленность первого рода (связанную, как правило, с добычей ресурса и его первоначальной обработкой), являющуюся непосредственным фактором организации поселенческой структуры, и на промышленность второго рода (занятую обычно переработкой ресурса или товарным производством), не игравшую заметной роли в этом процессе в исследуемый период и которая специально рассматриваться нами не будет. Тенденцию, по которой

добывающая промышленность максимально приближается к районам концентрации сырья, а обрабатывающая и производящая – к районам наибольшего скопления населения, т.е. к уже существующей поселенческой структуре, ранее отмечал в своем исследовании А.В.Дулов [102].

2.3.1. Самое общее представление о характере промыслов того времени как способе освоения может дать семантический анализ самого термина «промыслы» (ср. *промышлять* – т.е. покорять, приводить к покорности, завоевывать). Привлекая к этому анализу основные положения концепции осваиваемого пространства, можно более отчетливо определить и сущностные черты *промыслового освоения* как такового.

Объектом этого типа освоения (присвоения) являются ценные и/или редкие виды материальных ресурсов. Причем, ограничения доступности этих ресурсов, как временные (сезонность или исчерпаемость), так и пространственные (локальность), делала их присвоение негарантированным, а само это занятие рискованным. Чрезвычайная сложность и непредсказуемость привходящих факторов, влияющих на успешность занятия промыслами, должны были детерминировать чрезвычайный характер и некоторую авральность присвоения промыслового ресурса. Все это определяло наличие особых качеств у людей, занятых промыслами – решительность, находчивость, целеустремленность. Вместе с тем, нестабильность ресурса, делавшая информацию о нем **объективно** неопределенной, а также несоизмеримость затрат на его присвоение с возможными выгодами, укрепляли такое человеческое качество как авантюристичность. Как отмечал П.М.Головачев, «неразборчивость в средствах, жадность к добыче представляли общия типические свойства первых сибирских землеискателей» [103].

Одним из первых комплексных свидетельств о Зауралье как объекте торгово-промыслового освоения, видимо, можно считать интереснейший литературный памятник конца XV – XVI веков – Сказание «о человецех

незнаемых в восточной стране». Содержанием своим оно напоминает широко распространенные в средневековье фантастические землеописания. Вместе с тем, реальность лежащих в его основе сведений является практически доказанной. Не вызывает сомнения новгородское происхождение этого сказания и, как пишет его исследователь Д.Н.Анучин, «многие подробности статьи указывают на то, что составителем ее было лицо, хорошо знакомое с северной природой, с местными названиями и что он был человек торговый, интересовавшийся по преимуществу тем, у какого народа есть какой товар» [104]. В период времени, предшествовавший колонизации Сибири, полуторговые-полуграбительские сношения новгородских ушкуйников с местным сибирским населением (впрочем, как и любые другие обменные операции между экономически разноуровневыми обществами) можно с полным основанием считать специфическим способом промыслового освоения. Здесь мы видим всю ту же несоизмеримость доходов с затратами, ту же достаточно высокую степень риска, ту же чрезвычайность.

В противоположность распространенному среди исследователей текста Сказания мнению о намеренно «страшном» изображении зауральского края и жителей его населяющих, Д.Н.Анучин впервые попытался обосновать взгляд на этот источник как на вызванный потребностями практики путеводитель, который совершенно не имел цели запугать своего читателя. Действительно, фантастичность его имеет совершенно объективные причины, а сведения в нем содержащиеся являются «страшными» во многом лишь в представлении современного исследователя. Любая информационная структура, столкнувшись с принципиально новой внешней информацией пытается объяснить (освоить) ее с помощью привычных (своих) описательных средств, а для фактов не поддающихся такому объяснению (освоению) ограничивается выработкой определенного алгоритма поведения, максимально безопасного в рамках неосвоенного контекста. Сказание дает своему читателю самые необходимые сведения как о торгово-промысловой конъюнктуре Зауралья, так и о способах налаживания контактов с местным населением. Некоторые

бытовые обычаи последнего, не нашедшие у автора сказания сколько-нибудь понятных (в том числе и фантастических) объяснений, вызвали появление своеобразных «инструкций» как действовать в этих обстоятельствах, не потерпев ущерба или гибели.

Как заметил еще один исследователь истории ознакомления с Сибирью до Ермака А.Оксенов: «Без сомнения находились немногие отдельные лица, знавшие, до известной степени, Зауральский край, но их географические и этнографические сведения об этой стране оставались их личным умственным достоянием и не входили в общее сознание» [105]. Более того, объективные сведения (если они вообще возможны в данной ситуации) не могли стать достоянием сознания общества, впервые сталкивающегося с новой внешней информацией. Это противоречило бы всем правилам протекания информационных процессов в социуме в подобных условиях. Таким образом, хотя информация о Зауралье и имела на Руси скорее фольклорный, нежели описательно-географический характер, она вызывалась вполне определенными практическими потребностями и не вызывала реакции отторжения или страха.

Пушное изобилие, как писал Г.Ф.Миллер, привлекало «в Сибирь множество людей из областей российских не токмо для прибыльных тамошних торгов, но чтоб и за находящимися там в великом множестве дикими дорогими зверьми самим ходить на промыслы...» [106]. Впрочем, и сама сибирская торговля, не основанная на сколько-нибудь эквивалентном обмене, как мы уже показали, являлась своеобразным видом промысла. Не случайно, видимо, близкое соседство «промышленных» и «торговых» людей в документальных материалах XVII столетия, причем в ряде случаев разделить эти категории по их функциям чрезвычайно трудно. Так, например, в 1624 году тобольский воевода Ю.Сулешов писал в Москву, «что приезжают из русских городов в Тоболеск торговые и промышленные люди с русскими со всякими товарами и с хлебными запасами, а из Тобольска ездят торговати и на промыслы промышленяти в сибирские в понизовые города: в Сургут, в

Нерымской и в Кетцкой остроги, в Томской город, в Мангазею, а в тех городех, испродав свои товары и хлебные запасы, промышленные люди, быв на промыслех, ездят к Руси» [107].

Поскольку промысловый тип освоения является наиболее мобильным и имеет высокую собственную скорость распространения, промысловики оказывались подчас единственными носителями пространственной информации относительно еще не заселенных русскими земель. В начальный период колонизации промышленные люди оказывали самую серьезную помощь в информационном обеспечении действий сибирской администрации. Как писал Г.Ф.Миллер: «Оные промышленные отваживались заходить в наидальнейшие дикие места и тем получали как о подлинном тамошних стран состоянии, так и о жителях такие известия, которые начальствующим в построенных уже городах необходимо нужны были для получения в дальних своих предприятиях доброго успеха. Когда казаки новоприисканных народов покорять не были в состоянии, то множество промышленных добровольно казакам чинили вспоможенье. Одни за другими всегда ходили далее внутрь земли» [108]. О тесной связи служилого и промыслового элемента свидетельствуют царские грамоты, где им предписывалось сообщать не только о земле «разведывать», но и над враждебно настроенным местным населением «поиск и тесноту учинити» [109].

П.Н.Павлов убедительно показал, что «непосредственно государство не было конкурентом промышленников и торговцев пушниной», напротив, последние были одним из орудий административного освоения [110]. В соответствии с этим, государство изначально стремилось к сосредоточению в своих руках потоков пушнины из колонии в метрополию или, по меньшей мере, к контролю за ними. Однако ему все чаще приходилось сталкиваться в этом своем стремлении с интересами частных лиц, интересами, которые уже нельзя было сочетать с интересами государева фиска. В указе царя Бориса Федоровича от 9 апреля 1601 года было писано «что сибирских городов служилые люди ездят по городам торгуют мяхкою рухлядью безошлинно; и

сибирским служилым людям мяхкою рухлядью торговати не велено; и о том велено заказ учинити крепкой, чтоб однолично вперед, опричь торговых людей, мяхкою рухлядью не торговал ни каков человек; а будет кто из служилых людей учнет мяхкою рухлядью торговати, и у тех людей товары их имати на государя; а за ослушанье велено их бити батоги и сажати в тюрьму» [111]. Летом 1601 года царь Борис Федорович писал в Туринск голове Федору Фофанову: «И ныне нам ведомо учинилось, что прежние воеводы, будучи в сибирских городах, воровали... гонялись, живучи, они все за тем, чтоб им друг перед другом ясаку и поминков собрати больше прежнего, а того не прочили, чтоб та прибыль вперед прочна была и стоятельна; и приехав к Москве, нам тем бьют челом, что они, живучи в Сибири, в своих городех в ясаках прибыль учинили великую... и веря их воровскому челобитью, давано им за то наше жалованье, а иным и поминочная рухледь отдавана; а ныне от их воровские прибыли и ложного челобитья в сибирских городех многие волости ставятся пусты» [112].

К концу XVII столетия добыча пушнины и торговые операции с ней почти полностью перешли в теневую сферу, не без участия и при прямой выгоде местных сибирских властей. В наказе 1692 года таможенному голове г. Верхотурья читаем: «...и для того на Москве в Сибирском приказе в казне Великих Государей доброй мягкой рухляди соболей и лисиц и бобров и шуб собольих и лисьих из Сибирских городов в присылке не объявляется; а на Москве и по иным городом на гостинных дворех и в рядах объявляется у торговых и у промышленных людей многая добрая мягкая рухлядь, соболи и лисицы дорогие; а знаю, что та добрая мягкая рухлядь Сибирских воевод и Дьяков и письменных Голов...» [113].

Однако не только «мягкая рухлядь» интересовала государство в качестве объекта промыслового освоения. Осенью 7161 (1652) года послан был из Верхотурья стрелец Митька Балакин с тремя подводами в Исетскую слободу на реку Исеть копать ревенный корень. То, что такие «отъезжие промыслы» совершались относительно регулярно, хотя, видимо, недавно, говорит жалоба

на непрочность железных рогатин для копки ревеня: «...и те де рогатки копали на Исете корень ремень негоже и мне те рогатки велеть переделать на заступы железные...» [114]. В этом же году последовал государев указ ирбитскому приказчику Перхурову ехать на Исеть, «а с ним де быть на Исете для государева дела копать корень ремень ирбитским всем беломестным казакам», для чего велено было давать им государева хлеба из ирбитских житниц [115]. Таким образом, государство также играло определенную роль в промысловом освоении южной периферии русского расселения, хотя, как правило, объектом государевых интересов становились лишь высокодоходные виды промысловых ресурсов. То, что в рассматриваемый период в их число входил и ремень можно видеть из достаточно многочисленных административно-правовых актов того времени, где значение ревеня для государевой казны едва ли не превышало значение пушнины, а несанкционированная копка ревеня и торговые операции с ним карались конфискацией всего имущества и смертной казнью [116].

М.К.Любавский, рассуждая о влиянии промыслов на размещение русского населения, утверждал, что промыслы, в частности, занятие звероловством, «не позволяло русскому населению скучиваться в ограниченных пространствах, а влекло его к занятию возможно большей территории. В поисках за зверьем русские люди проникали все далее и далее в лесную глушь и, найдя богатые звериные угодья и подходящее место для усадьбы или пашни по соседству с угодьями, оставались на нем на постоянное жительство» [117]. Этот общий для многих пределов русского расселения сценарий, по мнению М.К.Любавского, осуществлялся и в Сибири. Местное население, для покорения которого и «основывались, главным образом, русские колонии, при своей малочисленности жили вразброд», занимаясь такими промыслами, которые не позволяли им скучиваться. «В поисках за ними и русские люди разбрелись по всей Сибири и поставили как бы станциями для себя свои городки, сторожки и зимовья. Сами промыслы, которым обратились русские люди в Сибири, заставляли их

также расселяться по стране. Не говоря уже о звероловстве, даже земледелие заставляло русских людей сплошь и рядом расходиться на далекие расстояния» [118]. Действительно, нужно признать, что земледелие, еще не став самостоятельным стимулом колонизации и на территории, где занятие им не могло стать ведущим типом хозяйствования насельников, тоже являлось своего рода промыслом, для которого характерны разбросанность и истощаемость ресурса (ср. повеление «промышлять пашнею» в царском указе на Тюмень в середине 90-х гг. XVI века [119]). Поэтому и его влияние на процессы русского заселения и расселения, по крайней мере в начальный период колонизации, должно было быть весьма сходным с действием промыслового типа освоения.

Вместе с тем, следует заметить, что в части способов индивидуального промыслового освоения Зауралья, в рассматриваемых нами рамках, отличалось от остальной территории Сибири. Спецификой зауральского индивидуально-промышленного освоения следует считать его длительность и почти исключительно торговый, т.е. опосредованный, характер. П.Н.Павлов отмечал только в Сургутском уезде некоторую активность постоянного русского профессионального промысла на территории Зауралья [120]. Непосредственной промысловой деятельностью на зауральской территории русские занимались преимущественно в южных районах, где не очень большая ценность объектов промысла с лихвой компенсировалась их многообразием.

В одном из литературных памятников эпистолярного жанра середины XVIII столетия – «Переписке о Сибирском изобилии» – мы видим определенный набор объектов промысла, еще имевших свое значение к концу исследуемого периода. Несмотря на тенденцию к идеализации сибирских условий (сочинение построено на объяснении выражения «Сибирь золотое дно»), видимо можно считать указанные здесь объекты промыслового освоения если не изобилующими, то, по крайней мере, достаточными для сохранения самого этого аспекта освоения. Согласно автору этого сочинения,

территория Зауралья от Верхотурья до Тобольска и южнее просто изобилует звериными промыслами: лосиными, лисьими, горносталями. К северу, «в Пелымском уезде, и в четырех ясашных волостях Кошущких, Кондинских, Козмодемьянских и Коцких городках до Березовского уезда соболи и белы промыслы бывают довольные. Рыбная ловля во всех тех местах можно по справедливости называть изобильными, а рыбы нельмы, язи и прочая, под именем белых рыб щуки, окуни, чебаки и прочия...» [121]. Изобилие и разнообразие «знакомых» русским ресурсов неизбежно должны были вызвать соответствующую реакцию колониального населения. Действительно, очень многие источники свидетельствуют об особенной интенсивности, даже тотальности, русского промыслового освоения новозаселяемых территорий. В 1620 году туринские ясачные татары писали в челобитной, что А.Бабинов с товарищами «в вотчине их житьем живут и лесуют звери, лоси и соболи и лисицы бьют, а в речках бобры выбивают и рыбу ловят и хмель дерут» [122]. В 1635 году ницынские ясачные татары жаловались на крестьян Ницынской Ощепковой слободы, которые «пашенные места и сенные покосы отняли, и леших собак выбили и в лесах зверь: лоси, и соболи, и лисицы, и в бобровых речках бобры побивают, и в реках, и в запертых истоках, и в озерах рыбу ловят, и в хмелевых наших ухажьях хмель дерут, и в лесах слопцы ставят своим насильством» [123]. Некоторая предвзятость подобных источников с лихвой компенсируется частотой таких сообщений. В этой связи также представляет интерес замечание пелымских ясачных людей о недоборе ясака за 1608 год: «...а нынеча де нашего ясаку по-прежнему окладу платить вперед нечем, зверя стало мало, потому что место обрусело» [124]. В этом смысле, по-видимому, следует интерпретировать и следующее замечание второй половины XVIII столетия: «...зверей поблизости города Березова по неимению удобных мест неиметца... для ж рыбных и птичьих промыслов при городе по неудобству мест промыслов больших не бывает... а большею частию для продовольствия своего как рыбу равно и птицу получают от ясашных народов, как в их селениях рыбных и птичьих промыслов состоит по

реке Оби и при прочих местах весьма изобильно...» [125]. По свидетельству С.В.Бахрушина, во времена Г.Ф.Миллера существовало предание, что Березов основан на месте промышленного зимовья [126], что в некоторой степени позволяет предполагать о былом промысловом изобилии этих мест. По всей видимости промысловые угодья в окрестностях крупных русских поселений Зауралья истощались очень быстро. Многообразие известных русскому населению ресурсов вызывало тотальность их присвоения.

Истощение объектов промысла вызывало необходимость освоения отдаленных от пределов русского заселения источников данного ресурса. Т.С.Мамсик совершенно справедливо отметила как особенность – «забегание вперед» в процессе присвоения промысловых ресурсов [127]. Инок Далмат, основывая Успенскую пустынь «в четырех днищах пути от сибирских городов и слобод», в краю, где, по выражению Г.С.Плотникова, «до того дикие звери только плодились, как на любимом приволье» [128], тем не менее, застаёт здесь невянских и ирбитских промысловиков. Впрочем, и выбрал он это место не сам, а «по указанию киргинского поселянина Семена Тимофеева Сосновского» [129]. Впоследствии, по челобитной 1686 года, уже сам Далматовский Успенский монастырь завел Уйское хозяйственное (почти исключительно промысловое) поселье далеко за пределами русского заселения. Всего монастырь получил следующие угодья: «речку Уй, источину, три больших курьи, затоны, озерка, самый Тобол вниз от Уя на 12 верст, а между рыбными промыслами – сенные покосы и хмелевые угодья...» [130]. Еще одной особенностью этого «забегания» оказалось то, что подобные промысловые анклавы оказывались удобным плацдармом для создания постоянного русского населения и расширения сферы присвоения местных ресурсов. Так, уже через год после создания вышеупомянутого поселья, у монастырских рыболовов появились соседи – пашенные крестьяне Маслянской слободы. Причина их появления здесь была та же, что и монастырских работников – оскудение рыбных ресурсов. По челобитной маслянские крестьяне получили во владение «рыбные промыслы, луговые и

наволошныя места», которые «были отведены выше отводу Успенского Далматовского монастыря вверх по Тоболу реке от межьюй речки от Уя до речки Абуги по досмотру и по переписным книгам Окуневской слободы слободчика Фетьки Качесова, при посредстве старцев Саватья и Офонася и близких тутошных жителей» [131].

Если в исследуемый период промыслы являются почти неизменным атрибутом крестьянского освоения, то в дальнейшем наблюдается тенденция к превращению их в сравнительно редкую, «любительскую» и, по большому счету, малоприбыльную деятельность. В начале XIX столетия курганский земский исправник доносил губернатору, что «ловлею зверей, птиц и рыбы во всех волостях малая часть жителей занимается... Но вообще все сии промыслы маловажны..., избыточны и служат более к собственному жителей продовольствию, некоторою ж частию и на продажу» [132]. В Ишимском уезде «всею промышленностью зверей, птиц и рыбную ловлею занимаютца поселяне летом в свободное от полевых работ время, а зимою тогда когда более на весь тот промысел настоят удобность, и не все вообще, а имеющие к каждому промыслу способность и охоту...» [133]. Подобное положение с промыслами характерно и для других местностей Зауралья в этот период.

Особо следует остановиться на соляном промысле, который совмещал в себе признаки как промыслового, так и промышленного освоения. От первого для него были характерны сезонность, от второго – технологичность. В 1600 году пелымский стрелец Васька Осетр нашел соляной рассол на речке Покчинке, в 10 верстах от города. От тобольского воеводы последовало распоряжение найти подходящее место для организации варницы [134]. Однако уже в этом же году предпочтение было отдано соляному ключу на реке Негле (Нагре) в том же Пелымском уезде. Нашедший соляной выход Ворошилко Власьев доносил, «что в той речке ключи соляные и росол добр и соли наварить мочно, а где варницам быть, и к тому де месту лесу много и близко, и дубровы де пашенные и луги есть, и людям де жить мочно» [135].

По отписке тобольского воеводы на то место отправлены были, помимо «соляных варцев», сын боярский Василий Албычев «с стрельцы и пашенными крестьянами и вагуличи под варницу и под весь варничный обиход место расчистить, и варницу, да амбар на соль, да двор, да на дворе две избы да клеть поставить, и дров к соляному варенью приготовить, и уголья жечь, чтоб ни за чем соляное варенье не стало» [136]. Однако после волнений вогулов осенью того же года [137], царской грамотой верхотурскому голове было повелено на соляной промысел посылать в прибавку пелымским служилым людям с Верхотурья «стрельцов и казаков попеременно, без сколько человек у соляного промысла быть нельзя, или б приговорить из найму из тутошних из гулящих людей помесечно или на год... А пашенных людей и вагулич к соляному промыслу не посылал, чтоб их тем не ожесточить» [138]. Несмотря на волнения вогулов и на то, что «варничново леса добыть не мочно, лес поудалел и мерзл», власти шли на любые меры, что бы только «варничное дело ни за чем не стало». Связано это было с тем, что на зиму 1600-1601 годов на данный промысел была возложена задача «соли наварити на расход на все сибирские города» [139]. Правда надежд этих он не оправдал, поэтому последующие распоряжения «велели Ворошилку соляной росол по речкам сыскивати и проведывати и вогулич про соляную воду роспрашивать, чтоб росол найти лутче прежнего и соль завести варить, чтоб однолично вперед в сибирские города с Руси соль не посылати» [140]. Г.Ф.Миллер утверждал, ссылаясь на грамоту от 2 февраля 1606 года, что в 1605 году солеварение здесь прекратилось, а все снасти перевезли на Верхотурье [141]. Однако грамота №82 [142] 1609 года позволяет думать о существовании промысла по крайней мере до этого времени.

Столь большое значение, придаваемое администрацией соляному промыслу на Негле, явно убыточному, отчасти объясняется временной недоступностью других промысловых источников. Хотя походы «по соль» на Ямыш озеро осуществлялись по крайней мере с 1601 года, они не были регулярны (до 1615-20 гг.) и были сопряжены с большой опасностью [143].

Тобольский воевода И.Катырев-Ростовский отписывал в Тюмень, что в 1611 году «послано на Тюмень из Тобольска тюменским служивым людям на жалованье соль в полы их окладов, потому что в Тобольске соли нет, а с Тары соль по два года не присылована для того, что калмыки озера отняли, и вперед будет соли из Тобольска в города служилым людям на жалованье послати нечего» [144]. Весной следующего года планировалось послать «к соляным озерам по соль из сибирских городов служивых людей и татар в судех и полем на конех» и с «вогненным боем» [145]. Чрезвычайный характер присвоения данного ресурса, сравнимый по своим масштабам разве что с небольшой военной операцией, хорошо иллюстрирует специфику промыслового освоения в целом.

2.3.2. Уже к середине XVI столетия на Руси ходили слухи об огромных ископаемых богатствах Сибири. В жалованной грамоте царя Ивана Васильевича от 30 мая 1574 года Якову и Григорию Строгановым на земли по Тоболу особо оговаривался промышленный аспект освоения этой территории: «А где в тех местех найдут руду железную, и им руда делати; а медяную руду, или оловяную, и свинчатую и серы горячие где найдут, и те руды на изпыт делати...» [146]. Вместе с тем, огромные рудные богатства Урала не были востребованы вплоть до XVIII столетия. И это на фоне неоднократных попыток в течение XVII века найти железную руду в равнинном Зауралье, в местах, далеких от будущих горных разработок. Вокруг скудных рудных выходов даже возникало некое подобие конкурентной борьбы. Первого июня 1628 года в съезжую избу Туринского острога пришел ясачный татарин Тантелейко Тентюков и сказал, что «есть в Туринском уезде у наших юртишков вверх по Нице по реке болото кругом его с версту, а растет по нем камыш, и в том болоте чают де быть железной руде» [147]. Впоследствии оказалось, что на том же месте ранее «по тоболескому наказу сыскал железную руду сын боярской Иван Шульгин» [148], вследствие чего туринскому воеводе пришлось давать объяснение в Тобольск.

Эта находка дала начало первому металлургическому заводу в Зауралье – Ницынскому. Он открылся в начале 1630-х гг. и работал с сентября по май. Приписанные к нему 16 крестьянских семей должны были вырабатывать за сезон до 400 пудов железа. От этого завода осталось очень мало сведений, известно лишь, что он был закрыт в 80-х гг. XVII века за убыточностью. Однако из этого завода выросло целое поселение железорудодобытчиков-кустарей – Рудная слобода. В 1669 году открылся Федьковский железоделательный завод. О нем неизвестно практически ничего; в 90-е гг. он прекратил свое существование. Вряд ли данные предприятия сколько-нибудь превосходили современные им крестьянские «железные промыслы». Л.Е.Иофа отмечал, что «заводы эти отличались малыми масштабами и технически были примитивны даже для своего времени» [149]. Еще одним из промышленных очагов XVII столетия в Зауралье было так называемое Железенское поселение, заведенное в 1682 году игуменом Далматова монастыря Исааком при впадении в Исеть речки Железенки (Каменки) в 70-ти верстах от монастыря. По приказу тобольского воеводы кн. А.А.Голицына от 28 июня 1682 года, тобольскому боярскому сыну Федору Рукину следовало при старосте Колчеданского острожка А.Авраамове и при иных посторонних людях «на той Железенской речке железную руду по обе стороны тое речки, лесные и чистые места и всякие уголья в тех урочищах отдать в Успенскую оптину пустынь Далматова монастыря» [150]. То, что в данном случае нет упоминания о пашенных и сенокосных угольях (в подавляющем большинстве подобных отводов такие сведения – обязательный атрибут) косвенно свидетельствует в пользу того, что основным мотивом приобретения данной земли монастырем явилась именно железная руда. Как констатировал Л.М.Каптерев, «этими кустарными предприятиями и вялыми разведками исчерпывается вся уральская “горная промышленность” XVII столетия» [151].

Игнорирование уральских рудных богатств объясняется обычно отсутствием потребности в высококачественном железе, каковая якобы возникла только в результате новых промышленных нужд петровской эпохи,

в частности, при вступлении России в войну со Швецией, т.е. с конца XVII столетия. Однако факт весьма настойчивых поисков железной руды в Зауралье на всем протяжении XVII века говорит об обратном. Л.Е.Иофа попытался обосновать свою точку зрения по этому вопросу, согласно которой позднее обнаружение горных богатств Урала было обусловлено его более поздним заселением [152]. Несмотря на кажущуюся логичность этого объяснения, позволим себе с ним не согласиться. Во-первых, корреляция мест присвоения ресурса с местами размещения населения весьма относительна, достаточно вспомнить промысловое освоение. Во-вторых, организация населения на той или иной территории сама зависит от имеющейся информации о наличии здесь тех или иных ресурсов. Данный тезис позволяет сделать следующее предположение: само становление горнозаводского Урала только в XVIII столетии во многом объясняется тем, что данный район вплоть до конца предыдущего, XVII-го, века был в этом плане информационно пуст, «прозрачен». Не исходила из этого района информация, которая бы могла инициировать его горнопромышленное освоение. В этой связи интересен анализ обозначений этой территории. До XVIII столетия *Урала* как пространственно содержательного понятия не существовало. Бытовало наименование *Камень*, обозначающее границу (абстрактный разграничитель) между метрополией и колонией, что лишней раз показывает отсутствие у него сколько-нибудь протяженного (пространственного) содержания. И лишь с XVIII века данная территория уже под именем «Урал» заявляет о себе как о протяженном и информационно наполненном образовании. Иными словами, именно рубеж XVII – XVIII вв. явился временем действительного открытия Урала, когда пространство, казавшееся до того времени качественно однородным, стало вдруг резко дифференцированным.

Однако причины возникновения такой пространственной метаморфозы все же требуют своего объяснения. Сколь настойчивые, столь и бесплодные попытки найти рудные выходы промышленного значения в течении XVII столетия предпринимались в Тобольском, Тюменском, Туринском уездах.

Кажущийся странным выбор мест этих поисков перестает быть таковым, стоит посмотреть на него с точки зрения информационной теории.

Информационная система ищет искомое не там, где оно есть, а там, где надеется его найти. Устойчивый информационный образ (стереотип) относительно взаимосвязи гористой местности и рудных месторождений еще не сложился или был слаб. Если учесть, что в европейской части Русского государства железо извлекали по преимуществу из дерновых и болотных руд, а встречались они практически повсеместно, то поиск руды в равнинном Зауралье был вполне ожидаем. Инерцией этого стереотипа, по-видимому, можно объяснить продолжение поисков здесь руды даже в половине следующего столетия. Возникшие, однако, к середине XVIII столетия рудные прииски на равнинной части Зауралья уже к концу века состояли «без всякого действия», «поелику в Тобольском наместничестве горных заводов и знающих свойство руд людей никого неимеетца...» [153]. Вместе с тем, к середине XVIII века старый стереотип уступил место новому. Так, уже Г.Ф.Миллер выразил некоторое удивление характером местности по Нице – болотистой и поросшей камышом, – где в 1628 году нашли железную руду. По его мнению это были «признаки, редкие для рудоносных мест, но подтвердившиеся на деле» [154].

При кустарной выделке железа сырьем служила поверхностная руда – болотная или дерновая. Однако даже в крупной промышленности XVIII века преобладали неглубокие ямные разработки, при которых руда добывалась «в разнос», т.е. открытым способом. Подземные, шурфные или шахтные, разработки применялись лишь после истощения поверхностного рудного слоя [155]. Доступность рудных ресурсов позволяла зауральским крестьянам даже при минимуме квалификации добывать руду и обрабатывать ее. Тем более что примитивная металлургия была составной частью традиционных крестьянских промыслов, чему в немалой степени способствовало практически повсеместное распространение болотных, озерных и дерновых руд на территории Европейской России [156]. Впрочем, имеющиеся сведения

заставляют говорить о том, что значительная часть этих знаний уже была утеряна колонистами, причем даже теми из них, для которых эти знания были профессионально необходимыми – кузнецами. Привезенная в 1628 году с болота по Нице руда была показана туринским кузнецам по поводу целесообразности производства из нее железа. Однако оказалось, что они не имеют об этом ни малейшего представления: «да того и не видали, как железо плавят, и то де нам дело не за обычай, потому что мы куем из готового железа» [157]. Даже к концу XVII столетия сибирские кузнецы показывали свою несостоятельность в деле, привычном для их коллег из Европейской России. Когда для новопостроенного в 1684 году острога в архиепископском селе Воскресенском потребовалась пушка с ядрами, выяснилось, что «в Тобольску ковать их было некому, таких умеющих кузнецов и железных рудоплавов там не нашлось...» [158]. И только весной 1696 года пушка и 50 ядер, вылитые на Железенском поселье Далматова монастыря, были отправлены в острог Воскресенского села [159]. Прикладные знания, не имеющие в новых условиях своего приложения, быстро атрофируются.

Некоторое развитие кустарных «железных промыслов», наблюдавшееся в XVII веке по рекам Нице и Нейве, было связано как раз с находками привычных, болотных и дерновых рудных выходов. По прибытии в 1722 году в Сибирь, В.И.Геннин, возглавивший казенное горное ведомство на Урале, писал, что «Арамильской слободы крестьяне Федор Бабин с товарищи объявили ему железную руду, обысканную близ реки Сысерти, о которой при объявлении ея доносили, что она обретена назад тому лет с сорок Арамильской слободы крестьянами, которые из оной руды до зачатия заводов... делали чрез малые печи и употребляли в продажу железо и со оною десятую платили в Арамильскую земскую контору» [160]. Мы уже упоминали о целом поселении металлургов-кустарей – Рудной слободе – возникшей в 1631 году у рудных месторождений по рекам Нейва и Ница, крестьяне которого издавна копали руду и варили железо в небольших домницах. Эта слобода, по свидетельству Г.Ф.Миллера, вплоть до конца XVII

столетия являлась едва ли не единственным местным источником, снабжавшим Сибирь железом [161]. Проводившийся по предписанию из Москвы досмотр рудных мест в Верхотурском уезде в конце XVII столетия выявил до сотни «железных мастеров» из верхотурских слобод и деревень. Особо обеспечены крестьянами-металлургами были промышленные поселья Далматовского Успенского и Невьянского Богоявленского монастырей [162]. По выражению Б.Б.Кафенгауза «крестьянская металлопромышленность на Урале сыграла свою роль в отношении разведки руд и отчасти передала будущим заводам кадры кузнецов» [163]. Только в XVIII столетии крестьянская рудодобыча постепенно сокращается и вытесняется крупной горнозаводской промышленностью. В 1717 году даже появляется указ сибирского губернатора М.П.Гагарина, запретивший кустарное производство железа, поскольку низкое качество последнего не оправдывало значительные расходы ценного сырья и леса. Крестьянская рудодобыча с этого времени перестает быть самостоятельным видом промысла и становится одной из подсобных работ в заводском производстве [164]. Тем не менее, В.И.Геннин требовал от своих подчиненных, чтобы они «с рудопродавцами, которые будут объявлять и продавать руду», поступали «ласкою, а не грубостию, дабы тем их не отогнать...» [165].

«Пройдя в XVII столетии равнодушно мимо уральских горных богатств, русская колонизация в XVIII столетии, вместе с началом и лихорадочно-торопливым развитием горной промышленности, поворачивает назад – к Уральскому хребту, на восточном склоне которого быстро возникает ряд горных заводов» [166]. За короткий период времени на средства казны и частных лиц были созданы несколько десятков металлургических заводов. Этому немало способствовали и мероприятия власти. В 1719 году Берг-коллегия разрешала заниматься рудоискательством и строительством заводов всем желающим и в любом месте. Владелец земли, однако, имел преимущественное право на разработку обнаруженных месторождений. Если он по каким-либо причинам не делал этого, любой желающий мог получить

разрешение на их эксплуатацию, с обязательством выплачивать землевладельцу 1/32 часть прибыли. Тем не менее, зачастую «рудознатцев ожидало серьезное сопротивление владельцев данных земель, и крестьян, живших на этих землях» [167]. Особенно невыгодным открытие новых рудников было для крестьян, понимавших, что именно им придется работать на новом заводе, отчего их хозяйство непременно пострадает. Жестокие расправы крестьян с рудознатцами вызвало замалчивание открытых рудных месторождений. Уральский крестьянин Иван Рычиков, открывший в 1722 году рудный выход в трех верстах от деревни, скрыл это, так как «...если мне место указать, то де почнут медную руду промышленять, а нашей де деревне от того будет утеснение» [168]. Этот факт еще раз подтверждает отсутствие прямой связи между ресурсом и организацией населения. Между ними всегда стояли определенные информационные фильтры.

Занимались рудоискательством и сами заводы, причем это вызывалось вполне объективными обстоятельствами – истощением старых рудников, и повторялось в среднем каждые 10 – 30 лет [169]. Рудники и прииски обычно располагались вблизи заводов (до 10 верст), но были случаи, когда они находились от заводов на расстоянии свыше 100 верст [170]. Зависимость локализации рудных разработок не от реального географического пространства, а от достаточно поверхностно связанного с ним пространства информационного, говорят многочисленные факты, когда богатейшие месторождения лежали длительное время без разработки, просто потому, что не были «увидены» [171]. Достаточно слабая корреляция между ресурсами реального географического пространства и степенью значимости их в структуре социума показана А.В.Дуловым и по отношению к промышленности в целом. «Размеры и степень развития той или иной отрасли промышленности, – пишет он, – определялись в основном социальными причинами. Здесь наблюдались даже случаи, когда производство развивалось слабо при благоприятных природных ресурсах или наоборот – расцветало при незначительных ресурсах» [172].

С началом массового заводского строительства на Урале и, собственно, с появлением последнего как протяженного и информационно наполненного образования, начинается длительный процесс вовлечения в структуру его функционирования соседних территорий Зауралья и Приуралья. Уже к середине XVIII столетия значительная часть Зауралья (в рассматриваемых нами рамках) была функционально «завязана» на уральский горнопромышленный район, отдаленные следствия чего наблюдаются и поныне.

2.3. Пространство земледельческого освоения

В исследуемый период времени земледелие являлось базовым и во многом атрибутивным типом хозяйственного освоения для русского населения. Однако освоение Зауралья на начальном этапе было представлено почти исключительно другими типами – административным и промысловым. Это определило первоначальный состав русского колониального населения Сибири (по преимуществу военно-служилое и торгово-промышленное), а следовательно второстепенный и подчиненный характер земледельческого освоения. Последнее обстоятельство определялось главным образом различиями в информационном пространстве, создаваемом носителями этих типов освоения. Естественно, что набор информации, детерминирующей организацию военно-служилого или промышленного населения, отличается от информации, необходимой для организации населения земледельческого. В результате, последнее оказывалось в районах либо совершенно не пригодных для земледельческого освоения, либо придающих этому освоению крайне рискованный и несамодостаточный характер. В ряде случаев крестьянское земледельческое население полностью теряло свою функциональную специфику и было вынуждено заниматься совершенно несвойственными ему видами деятельности. Так, например, в Березове «...хотя ж государственныя крестьяне жительство и имеют в городе... по

случаю холодного климата хлебопашества не имеют, а довольствуются пропитанием от работ: подати платят против протчих государственных крестьян деньгами» [173]. В Сургуте «крестьяне ж здешния хлебопашества не имеют, а состоят на казенном оброке; промысел же их в том только и состоит, что в летнее время на мимо плывущих дощениках нанимаются в работу, а в протчее время промышляют для пропитания своего рыбу, частью ж осенью промышляют в неотдаленных от города местах зверей...» [174].

Вместе с тем, очевидно, что устойчивую структуру постоянного русского населения могли создать в тех условиях только такие типы хозяйственного освоения, которые бы мало зависели от конъюнктурных обстоятельств и, в то же время, стабильно обеспечивали бы колониальное население жизненно необходимыми ресурсами. В тех средовых и исторических условиях только земледелие могло создать базу для превращения территории Зауралья в зону полномасштабной колонизационной деятельности. Как писал А.П.Щапов: «...без хлеба, даже в хороших местностях, представлявших другие источники жизненных средств, поселения не могли прочно существовать и развиваться, а расходились врознь и разрушались» [175].

П.М.Головачев писал: «Без колонизации земледельческой, усеявшей край деревнями, занятие Сибири одними военно-служилыми людьми и одними мехопромышленниками не имело бы поддержки... Заселение Сибири явилось результатом совместного действия двух сил – государственной и вольно-народной, действовавших параллельно, опиравшихся одна на другую, хотя часто и бессознательно» [176]. Это и подобное ему соображения породили в историографии истории Сибири весьма оживленную и не прекращающуюся до сих пор полемику относительно приоритета государственного или вольнонародного факторов в сибирской колонизации. Рассматривая проблему сохранения целостности колонизирующего общества [177], мы пришли к выводу о некорректности положений, поставленных в основание этой полемики. Вообще создается впечатление, что речь в ней идет не о воссоздании социальной целостности на осваиваемой территории, а о

некоем виде соревнования: кто из субъектов колонизационной деятельности успеет первым заселить и освоить некоторую территорию. Вопрос же о том, способны ли эти субъекты по отдельности быть показателем «полноценной» целостности колонии и метрополии почему-то даже не ставится.

Целостность как категория интегральная может быть определена по двум формальным критериям: интегрально-структурному и интегрально-однородному. Первый, применительно к нашей проблеме, вычленяет макроструктуры, интегрально связывающие социум в единое целое (государственно-административная, военно-административная, экономическая, социально-стратификационная структуры, инфраструктура или др.); второй выделяет такую целостность по признаку ее интегральной однородности (этнокультурной, социальной, хозяйственной, религиозной или др.). Причем, только интегрально-структурные или только интегрально-однородные критерии не способны быть показателем реальной целостности. По отдельности они всего лишь обеспечивают формальную возможность ее создания, которая становится актуальной только при их ареальном совпадении.

Предложенная нами процедура определения системной целостности метрополии и колонии по двум критериям – интегрально-структурному и интегрально-однородному – была уже ранее очень образно описана П.М.Головачевым: «Государство намечает остроги, проводит линии, пролагает тракты и создает, таким образом план и межи, ставит вехи и колья для колонизации. Вольно-народная колонизация... осуществляет план, заполняет все промежутки и сетку колонизации живым материалом» [178]. Хотелось бы заметить, что данная картина очень точно отражает специфику процессов заселения-расселения в процессе колонизации.

Можно вычленить два основных типа «заполнения» геопространства социальным субстратом: «заселение» и «расселение» (в известном смысле их можно связать со структурным и однородным показателями в воссоздании социальной целостности). *Заселение* характеризуется наличием

немногочисленных, сравнительно многонаселенных и часто далеко отстоящих друг от друга поселенческих анклавов. Его появление, как правило, связано с необходимостью исполнения определенных ролевых функций, либо с локальностью объекта освоения. *Расселению* же свойственны (в идеале) массовость, однородность и относительно небольшая населенность поселений, а также хаотичность (равномерность) и плотность распределения их в геопространстве. Расселение появляется при общераспространенности ресурса и стремлении к минимизации издержек, связанных с его присвоением. Подобная интерпретация терминов «заселение» и «расселение» находит свое подтверждение и в результате их семантического анализа. *Заселение* однозначно соотносится с процессами переноса населения *за* пределы чего-либо и/или *за*-полнения какой-то ограниченной территории. Семантика термина сущностно связана, таким образом, с векторностью (однонаправленностью) и выраженной ареальностью. *Рас-селение*, напротив, свидетельствует о процессах *рас*-пределения, *рас*-сеивания и связано с рассредоточением населения из некоего центра (центров) по расходящимся концентрическим кругам при отсутствии, однако, четких границ.

Если заселение является пространственным выражением административного и торгово-промышленного освоения, то расселение есть атрибутивный признак освоения земледельческого. Этот вывод позволяет не только определять вид и степень освоенности той или иной территории по способу ее заполнения населением, но и оценивать меру самостоятельности того или иного типа освоения. Применение этого метода по отношению к зауральской территории приводит к выводу о вторичности (в хронологическом смысле) земледельческого освоения как фактора организации населения, либо о его серьезной зависимости от административного освоения. Последнее было характерно для южной части Зауралья, где под воздействием административных интересов начальное земледельческое освоение происходило в форме заселения, а не расселения, и где крупные земледельческие поселения (слободы и остроги) возникали не в

результате естественной иерархизации мелких населенных пунктов, но, напротив, служили основой возникновения последних.

Процесс заселения (создание системообразующей структуры населения) Зауралья уже в первые десятилетия его колонизации в основе своей был почти завершен. Немногочисленные «колья» колонизации были расставлены относительно равномерно почти по всей зауральской территории (за исключением южной ее части), подготовив основу для русского расселения. За полтора десятка лет были поставлены: в центре – города Тюмень и Тобольск, на западе – Верхотурье, на востоке – Сургут, на северо-западе – Пелым, на севере – Березов и Обдорск.

Заселение в Сибири, вызванное по преимуществу административными соображениями, жалось к пойменным территориям крупных речных артерий. Традиционные объяснения этого факта, основанные на транспортном, военном значениях крупных рек и аграрном значении их пойм, кажутся на первый взгляд вполне исчерпывающими. Однако заселение южной части Зауралья во второй половине XVII столетия дает повод сомневаться в полноте этих объяснений.

Заселение южного Зауралья, также как и заселение его таежной части, было привязано к поймам крупных речных артерий, в данном случае – к поймам Тобола, Исети и Миасса. Однако транспортное значение их никогда не было определяющим для инфраструктуры региона. Во-первых, основные транспортные потоки из метрополии в колонию и обратно проходили севернее и не захватывали южного Зауралья, поэтому необходимости создавать транзитные базы на водных коммуникациях здесь не возникало; во-вторых, основным содержанием грузопотока отсюда была сельскохозяйственная продукция, главным образом зерно. Однако этот продукт **в любом случае** приходилось доставлять с мест его присвоения гужевым или водным (по мелким притокам) транспортом к пункту отправления на главной речной артерии. Поэтому необходимость привязки населения к поймам крупных рек в этом случае по меньшей мере неочевидна.

Военное значение этих рек также вызывает некоторое сомнение. Во-первых, речная артерия может рассматриваться как надежный оборонительный рубеж лишь в случае достаточно плотного и равномерного ее заселения и/или при условии контроля за основными переправами через нее. Неравномерная и относительно небольшая населенность Приисетья и Среднего Притоболья второй половины XVII века, а также неполная закрытость их со стороны степи, не создавали особых препятствий кочевым набегам на эти территории. Во-вторых, считается, что только реки с их крутыми берегами и мысами при слиянии двух рек могут предоставить удобные в плане обороны варианты локализации поселений. Однако относительно пересеченный характер ландшафта этого региона позволял находить «крепкие» места для основания поселений и за пределами пойм речных артерий, например, у лесов (как то практиковалось в лесостепной части Европейской России [179]), болот, озер, логов и мелких речушек. Наконец, достаточно равномерное распределение благоприятных для земледелия и скотоводства почвенных и гидроресурсов, а также большой массив необлесенных пространств, делали привязку населения южного Зауралья (по преимуществу крестьянского) к речным долинам необязательной. Таким образом, существующие объяснения феномена пойменного заселения явно недостаточны.

Пойменное заселение, согласно В.П.Семенову-Тянь-Шанскому, характерно для двух ландшафтно-климатических зон европейской части России: северной (промыслово-земледельческой) и южной (земледельческой) [180]. В обоих случаях, концентрация населения в речных долинах была обусловлена сосредоточением в пойменных пространствах этих зон большей части доступных для присвоения или производства ресурсов жизнеобеспечения. Южную часть Зауралья нельзя отнести по географическим параметрам ни к одной из этих двух зон. Это доказывается еще и тем, что крестьянское расселение, начавшее активно осуществляться здесь с конца XVII столетия, все больше проникает на водоразделы, относительно

равномерно заполняя уже к концу следующего века всю территорию южного Зауралья (мы имеем в виду распределение поселений, а не населения).

Феномен пойменного заселения южной части Зауралья, наблюдавшийся во второй половине XVII столетия, объясняется нами своеобразной инерцией опыта. Многовековые традиции заселения Русского Севера и таежного Зауралья, сформировавшие стереотип о предпочтительности эксплуатации именно пойменных земель, стали органичной частью структурной информации колонизирующего общества. Этот стереотип не вступал в острое противоречие с новыми условиями, что позволило ему просуществовать вплоть до конца XVII столетия.

Расселение («заполнение» структуры, намеченной заселением) на территории Зауралья носило почти исключительно земледельческий характер, поскольку занятие земледелием в значительно большей степени, нежели занятие промыслами определяло привязанность места жительства к месту присвоения ресурса. Крестьянскому расселению немало способствовало и то обстоятельство, что, как подметил П.Н.Буцинский, ближайšie к городу земли отходили как правило ямщикам, посадским и служилым людям [181]. В большинстве случаев они не имели возможности обрабатывать землю, расположенную далеко от города, и при этом исполнять свои функциональные обязанности. В то же время и исполнение последних пока не избавляло некрестьянское население от необходимости занятия земледелием. Вследствие этого, крестьяне вынуждены были подыскивать удобные пашенные места вдали от городов и использовать их либо в качестве «отъезжих пашен», либо в качестве нового поселения – деревни или заимки. Так, по свидетельству П.Н.Буцинского, почти каждое семейство верхотурских крестьян имело свою деревню [182]. В несколько меньших масштабах подобное явление характерно почти для всех зауральских городов (за исключением северных).

Расселение в Зауралье представляло собой весьма пеструю картину, как в способах приобретения земли, так и в формах ее заселения. Можно выделить

несколько способов земельных приобретений, основными из которых были: отвод, приискание, захват.

Относительно часто встречающимся типом крестьянских челобитных были прошения об отдаче им приисканных ими «порозжих» земельных угодий. В 1650 году вышел государев указ, наверняка повторяющий аналогичные ему предыдущие постановления, о том, чтобы «порозжия пустоши по писцовым книгам давать первым челобитчиком» [183]. Кроме того, имевшая в своих наказах постоянным требованием увеличение запашки, воеводская администрация обычно не имела серьезных оснований в отказе подобным прошениям. Единственным неременным условием их удовлетворения было наличие свидетельств о незанятости земель, на получение которых претендовал проситель. Естественно, что наилучшие возможности в самостоятельном приискании земель были в первые годы освоения той или иной территории. Так, С.Молчанов, приказчик Ницинской слободы, в начальный период ее устройства наделял крестьян землей под собинные пашни «где кто похотел иным подле твою государеву пашню смежно, а иным дале» [184]. То же самое мы видим и при поселении крестьян в вотчине Тобольского Знаменского монастыря, которые «на Бегишевых горах в разных местах дворами селились и пашнями врознь же» [185]. В этот период и размеры крестьянских наделов не подвергались ограничению. К середине XVII столетия в Сибирском приказе утверждали, что в Сибири всякие люди, в том числе и пашенные крестьяне, владеют землею «не по четвертям, а сколько хто сперва русские люди в которых местах земли займовали, много ль хто иль мало тот тем, хто жив, и по ся место владеет» [186]. О том же в своей челобитной в 1625 году заявляли и жители Верхотурья: «...а у иных де у служилых и у посадских людей и у пашенных крестьян и у ямских охотников пашенных земель и сенных покосов занято много, не одны заимки, а займовали де те лишние земли те люди в те поры, как было на Верхотурье людей мало, а земель было порозжих впусе много» [187]. Недостаток ближних к городам незанятых земель вызывал увеличение

расстояний поиска удобных для занятия земель. По свидетельству П.Н.Буцинского, жители Верхотурья – крестьяне, посадские и служилые – при этом «мало стеснялись расстоянием и захватывали земли под пашню за 50, за 100 и более верст от Верхотурья» [188]. Так, например, в 1612 году бил челом в Москву «Верхотурского города ямщик Сидорко Терентьев сын Чапурин и во всех ямщиков и пашенных и торговых людей место, чтоб их пожаловали на Верхотурье на Тагиле реке, на устье Мулгае, вверх по Мулгае и вниз по Тагиле по обе стороны пашенным местом, где пригодится; а под городом де им пахать негде, а то де урочище от города верст с 50» [189]. Приисканые подобным образом земли легализовались и «укреплялись за владельцами подписными челобитными, отводными данными и, позднее, занесением в переписные книги» [190].

Как совершенно справедливо отмечал В.И.Шунков, «право старины, перенесенное за Урал московскими людьми вместе с их земельными представлениями, приобретало здесь еще и добавочное значение права первого занятия данного участка» [191]. Вместе с тем, данное право служило удобным предлогом для оправдания владения землей без отвода, иногда просто захваченной. Так, в 1646 году было отведено место на реке Туре под новую Туринскую слободу. Однако вскоре выяснилось, что ту землю пашут, «самоволством отъехав от Туринского острогу, ямские охотники». На требование убрать с слободской земли «сказывают, что пашут они прежде Туринские слободы...» [192]. Иногда владение землей по праву старины и без всяких крепостей давало надежду такому «владельцу» на благоприятный исход дела, даже если у противоположной стороны были все необходимые документы, доказывающие владельческие права на спорную землю. Так, в 1666 году в вотчине Тобольского Знаменского монастыря под Бегишевыми горами поселились государевы оброчные крестьяне – Никитка Долговой с братьями (всего 7 человек). Монастырь настаивал на выдворении их с территории вотчины. Однако в результате административного вмешательства они не только не были выселены с захваченных земель, но взамен занятой

ими территории монастырю самому пришлось подыскивать себе такое же количество порожних земель. Примерно в это же время и на тех же землях без всяких крепостей, а лишь по праву давности, владел монастырской землей и оброчный крестьянин Левка Шадрин с братьями. И в этом случае взамен захваченной земли монастырь получил такое же количество земель, лежавших «впусте» [193]. Интересы государева фиска стояли выше формальных прав владения тех или иных субъектов.

Местное население, как правило, использовало в качестве основного (если не единственного) источника ресурсов жизнеобеспечения промысловое освоение (исключением является хозяйство жителей крайних севера и юга Зауралья, основанное на скотоводстве). Отсутствие жесткой привязанности местного населения к местам локализации жизненно важных для русских колонистов ресурсов (в основном к годным для земледелия и скотоводства пойменным территориям) позволяло ему не вступать в острую конфронтацию с пришельцами, поскольку уход с этих территорий не означал для местного населения потерю кормящего ресурса. Более того, часто само начало организации колониальной поселенческой структуры «очищало» пригодные к хозяйственному освоению территории без непосредственного контакта колонистов с местным населением. В челобитной табаринских татар 1598-го года читаем: «А которые, государь, юртовские татарове и вагуличи жили по дорогам, и они, государь, от подвод разбегаяся, живут по лесам в незнаемых местах» [194]. К концу XVI века по дороге из Тобольска в Пелым из 60-ти человек местных жителей – татар и вогул – осталось лишь 9 человек [195]. Поскольку в то время основными транспортными артериями являлись реки, именно приречные земли испытывали заметный отток инородческого населения вглубь водоразделов или на реки, находившиеся в стороне от основных дорог. Если же учесть, что приречные пойменные территории являлись и основным объектом хозяйственного использования колонистов, уход с этих земель местного населения объективно облегчал их освоение.

Вместе с тем, при освоении ряда территорий все-таки возникали конфликты русских колонистов и местных жителей по поводу пашенной земли. Об одном из таких случаев при заселении земель по реке Нице во второй четверти XVII века упоминает П.Н.Буцинский: «Здесь уже существовало земледелие, которым занимались туринские татары, а потому при заселении этой реки возникали постоянные распри между русскими и инородцами» [196]. Но, видимо, не следует преувеличивать значение пашенных угодий для занимавшихся земледелием местных инородцев. Анализ документов, имеющих к этому отношение, позволяет говорить о второстепенности земледелия в системе ресурсного жизнеобеспечения местного населения. Так, например, Пелымского уезда табаринские пашенные татары (хотя в этническом плане их следовало бы называть вогулами), в 1607 году били челом государю о переводе их с пашни на уплату ясака пушниной, как то было до постройки Пелымского города [197]. В повторной челобитной 1618 года они указали, что пахали пашню на себя «до Пелымского города лет за 40 и за 50», а с постройкой Пелыма воевода Петр Горчаков «заставил нас сирот твоих в Таборех на тебя государя твою государеву пашню пахать, и поймал у нас сирот твоих наши особинные пашнишки в твою государеву пашню» [198]. В данном случае колониальная администрация в лице П.Горчакова действовала вполне предсказуемо: на основании превратно понятой «идентичности» занятий местного населения с традиционным способом хозяйствования колонистов она попыталась использовать это в деле государственного освоения. Однако дальнейшее содержание челобитной заставляет думать, что землепашество выступало для этих вогулов в виде второстепенной хозяйственной деятельности, сродни промыслам. Как они указывают, «живем, государь, от твоей государевы пашни от Таборов в разных местах на озера, ездю от Таборов днища по полутора и по два днища, и кормимся с женишками и с детишками рыбенком, и к твоей государеве пашне в Таборы нас сирот твоих из наших юртишков высылают приставы... и мы, государь, сироты твои кормимся с женишками и

с детишками во все лето травую... а рыбенка, государь, добыть нам сиротам твоим, чем сытым, в те поры добыть не успеем, в которую пору твою государеву пашню пашем и твой государев хлеб жнем и молотим» [199].

Скотоводство (впрочем, как и животноводство в целом) как тип хозяйственного освоения сыграло очень незначительную роль в качестве фактора пространственной организации населения Зауралья в период его колонизации. Связано это было, по-видимому, не столько с характером географических условий, широкая благоприятность которых для скотоводства стала сколько-нибудь ощутимой лишь к концу исследуемого периода, сколько с наличием уже сложившихся традиций русского скотоводства, предъявлявшего сравнительно незначительные требования к характеру природной среды. С.Б.Веселовский отмечал как весьма распространенное для Северо-Восточной Руси явление в период, предшествовавший колонизации Сибири, когда «скот держали на воле, безпастушно», что «вызывало необходимость огораживания культивируемых под посевы и покосы земель... мы видим, как повсеместное явление, что по границам деревенского владения, а местами и внутри него на границах пахотных полей и пожен тянется “огорода”, которую в лесу заменяет “осек” – заграждение из поваленных деревьев или из жердей, прикрепленных к деревьям» [200]. Подобная практика в Зауралье приняла название «поскотинной». Так, в одной из жалоб указывалось, что крестьяне малоземельной Ирбитской слободы за неимением свободных поскотинных угодий отгородили себе «неведомо по какому заводу» земли киргинских крестьян, да еще и «их же киргинских крестьян жердьем» [201]. Единственным серьезным влиянием, оказываемым скотоводством на процесс расселения, было наличие сенных покосов в качестве одного из необходимых условий при заселении той или иной территории. Но и здесь, по всей видимости, данное требование входило в традиционное представление о поселении как прежде всего комплексе угодий. Вообще русское скотоводство являлось в большой степени видом хозяйствования, дополняющим земледелие, и сравнительно редко играло

самостоятельную роль. В этом смысле показательна процедура наделения земель, которая, начиная от челобитных и заканчивая отводными грамотами, в подавляющем большинстве случаев сопряжена с использованием устойчивых словосочетаний, основным из которых несомненно является связка «пашенная земля и сенные покосы». Совпадение северных границ скотоводства (разведения рогатого скота и лошадей) с границами распространения земледелия отмечал А.В.Дулов [202].

Подведем некоторые итоги. В этой главе было показано, что организация населения в пространстве зависит не столько от объективных и имманентных последнему свойств, сколько от того, каким образом оно (пространство) конституируется конкретным субъектом, будь то социальная группа или общество в целом. Основываясь на общей для данного социума парадигме пространственного восприятия (переход от антропоцентрической парадигмы к картографической), субъекты освоения – административная структура, промышленное и земледельческое население – имели свои особенности конституирования осваиваемого пространства, вытекающие из внутренних свойств самих субъектов. Вследствие этого, многосубъектность процесса колонизации Зауралья конца XVI – первой половины XVIII вв. обусловила и качественное многообразие форм организации населения на его территории.